

Ирина Валерина

Держась за воздух

Э

Санкт-Петербург
2014

УДК 82-14
ББК 84(2)

В15 И. Валерина. **Держась за воздух.** — СПб: Эйдос, 2014. — 168 с.

ISBN 978-5-904745-46-2

Перед вами книга стихов Ирины Валериной «Держась за воздух». Как держаться за нечто невидимое? Что для поэта воздух, как не мир, создаваемый словом? Неспроста автор часто употребляет лексемы «междумирье», «междустрочье», подчеркивая этим существование за гранью обычного, повседневного.

Книга составлена из нескольких разделов, отражающих разные периоды жизни и становления автора. В стихах Ирины можно найти художественную трактовку самых разных понятий. Что есть человек и окружающий его мир? Что такое любовь, жизнь и смерть, и в чем вообще смысл существования? Ограниченное во времени существование человека преодолевается мифологизацией его мыслей и чувств. Так происходит экстраполяция в запредельное — бесконечное, вечное и в принципе неизъяснимое, проявляемое лишь в становлении смысла.

УДК 82-14
ББК 84(2)

ISBN 978-5-904745-46-2

© И. Валерина, 2014
© ООО «ЭЙДОС», 2014



... Люблю слово «спасибо». Оно успокаивает и гармонизирует. И счастье, что есть люди, которым я могу сказать это слово. В первую очередь, конечно же, это мои родители. Спасибо вам, мои дорогие, за то, что я такая и никакая другая, за то, что научилась читать едва ли не вслед за тем, как приобрела способность внятно формулировать мысли. Спасибо, что терпеливо принимали мою непохожесть, замкнутость и оторванность от мира простых вещей. Я люблю вас. Простите, что редко говорю об этом.

Есть ещё три дорогих мне человека, знающих и принимающих меня непарадной, угрюмой, периодически чихающей и терзающей носовые платки, а также их нервы — короче, всякой. Это моя семья: любимый человек и дети, созданные с ним. Спасибо вам, мои драгоценные неангелы, без вас моя жизнь никогда не была бы исполнена простого и очень важного смысла. Спасибо, мой мужчина, благодаря тебе я могу чувствовать себя защищённой и спокойной за всякий новый день, в котором есть мы. Пусть этих дней будет как можно больше. Я люблю вас.

Спасибо всем, кто стал для меня учителем. Неважно чего: азов грамматики, поэзии или жизни. Я благодарна за каждую встречу — без вас я была бы другой. Спасибо моим терпеливым, чутким и благожелательным читателям — тепло, идущее от вас, неоценимо. Это воздух, без которого автор неминуемо задохнётся. Спасибо моим немногочисленным настоящим друзьям. Чтобы счесть вас, достаточно пальцев на одной руке, но то, что вы даёте мне, не измерить и не взвесить. Благодаря вам я почувствовала себя нужной и любимой не за что-то, а вопреки всему. Я люблю вас.

И, конечно же, огромная благодарность тем, без кого эта книга не была бы возможна — издательству «Эйдос» и лично

Борису Божкову, с титаническим терпением проведшего меня тернистым путём издательских дебрей. Также хочу выразить свою глубокую признательность Александру Сизифу за неформальный и вдумчивый анализ текстов, представленных в этом сборнике.

Ирина Валерина

Искусство развоплощения

о поэтическом творчестве
Ирины Валериной

Перед вами книга стихов Ирины Валериной «Держась за воздух». Как держаться за нечто невидимое? Что для поэта воздух, как не мир, создаваемый словом? Неспроста автор часто употребляет лексемы «междумирье», «междустрочье», подчеркивая этим существование за гранью обычного, повседневного.

Книга составлена из нескольких разделов, отражающих разные периоды жизни и становления автора. В стихах Ирины можно найти художественную трактовку самых разных понятий. Что есть человек и окружающий его мир? Что такое любовь, жизнь и смерть, и в чем вообще смысл существования? Ограниченное во времени существование человека преодолевается мифологизацией его мыслей и чувств. Так происходит экстраполяция в запредельное — бесконечное, вечное и в принципе неизъяснимое, проявляемое лишь в становлении смысла.

Яркой стилистической особенностью стихов Ирины Валериной является их смысловая гибкость, текучесть, как будто слова рассыпаются из волшебного рога изобилия, выстраиваясь в сложные ассоциативные ряды. Чувства и мысли в строках столь интенсивны, что захватывают читателя подобно лавине, будоража его воображение, сокрушая, возвышая, низвергая — и очищая душу от бытовой заскорузлости.

Поэтическое полотно Ирины широкое, многоцветное и причудливо узорчатое, смыслы его многозначны и глубоки, а ох-

ватываемые им эпохи теряются в бездне прасуществования, равно как и в перспективе, задаваемой осмыслением инобытийного. Поэтесса говорит исключительно от первого лица, проживая в строках многие жизни: «...и я пришла — идея / набухшего вселенского зерна».

Еще одна особенность стихов Ирины Валериной — их эпический характер, обусловленный образным богатством, погружённостью в архаику в сочетании с актуальностью звучания в настоящем. Замечательно, что эта эпическая полифония исполнена самого изысканного и нежного лиризма: «...стала бы тонкой нитью / эха серебристых трубчатых колокольчиков, / разучивших мелодию ветра».

Человек, как персонифицированный миф, есть Вселенная, познающая себя в его сердце. В генетической памяти каждого пребывает всё когда-либо существовавшее, в том числе и все поколения людей. Личностное многообразие поэта обусловлено теми историческими персонажами, которые близки ему по духу. И когда поэт оказывается в их статусе, проживая в себе жизни давно ушедших и близких ему героев, то это не просто игра воображения, но ткущееся мифологическое полотно, разворачивающееся в смысловой повседневности настоящего. У Ирины подобных стихов немало: «и со мной читают вечность неотправленные строчки / все, кто умерли когда-то, но уверены, что живы».

В стихах Ирины есть и пейзажные картины, облаченные в сложную драматургию психологических перипетий, и исторические аллюзии, и мифологические параллели, и возвышенная романтика сказочного, и суровая правда обыденного. Стихи захватывают, как водоворот — мощно, стремительно и всецело. Однажды в них погрузившись, начинаешь жить в многомерности авторского образного строя, к ним хочется возвращаться снова и снова, читать вслух, повторять и вслушиваться, ибо всякий раз они открывают что-нибудь неожиданное и новое.

Александр Сизиф

Содержание

Истоки

Пчёлы	16
Первооткрывательское	17
Снегири	19
Нам всем, зашедшим далеко	20
Муравьиное	21
Дед	22
Время, которого нет	24
И осень в дедовом дворе	25
Если	26
Единственный, кто	27
Немногое, что истинно	28
Ещё	29
Семейное	30

Оттенки яблока

Тут намешано-наворочено	32
Принимай неизбежное	33
В эту погоду бы	34
Кали-Юга идёт к закату	35
От яблока до яблока	37
Даже тогда	39
Здравствуй всегда	40
Но ромашки растут	42
Ситонское	43
О музыке, мире, тутовом дереве и не только	44
По праву ветки	46

Ведьмины сказочки

Я не знаю, как называется это место	48
Начало	49

Глаза их бездна	50
Единороги	51
Спи, не заглядывай в глубину	53
Она	54
Мне бы, веришь ли, ни о чём.	55
Не трепыхайся, бела рыба	56
Ведьмина сказочка	58
Про финистов	59
Недосмотренное	60

Ведьмины письма

Я пишу тебе отсюда	62
Неспящая	63
«Мне скучно, бес».	65
Письмо	66
Здравствуй	68
Из междуречья	70
Сто лет назад, четвёртого числа	71
Такое время	73

Мифы средней полосы, сказки древней Греции

Над бездной	76
Сивилла баб'Маня	77
Держи меня	78
От мойры	79
Так плыви же, Харон	80
От Медеи	81
Мечта	82
Ужин	83
Ожидание	84
Решение	85
Галатейское	87
Гордиево	88
Кольцо	89
Погост	90

Наследующие Царствие

Дурочка	92
Время падающих каштанов	93

Час быка	94
Про дауна и бога	95
Паданец	96
Ничья	97
Глагол	98

Не апокрифы

Идея	100
Глина	101
Вдохни	102
Не апокриф	103
От Лилит	104
Позднеэдемское	105
Сад	106
Ева	107
Безгрешное	108
От Каина	109
Ной сидел на бревне	110
Рыба	111
Крамола	113
Волхвы	115
Плотник	117
О, Саломея.....	118
Жало	120
Из приходящего	121
И говорил он	122
Трудно быть	124

От женщины

Я — женщина	126
Одинокое	128
Непрактичное	129
Неожиданное	130
Кизиловое	131
Кто-то и ты	132

Смотрю из темноты на свет...

Рефлексивное	134
Неприкаянные слова	135
Тёмное время	136

Последний бастион	137
Возрастное	138
Март	139
А внутри.	140
От колодца.	141
Не указ	142
Полночь тучи тишина	144
Ты уже знаешь	145
Как гаммельнские дети.	147
Весна будет скорой	149
В одно предложение	150
Перспектива	151
Всё остаётся	152
Смотри.	153
Зло и сладко	154
Нет ничего	155
Письма древоточца	156
О сущности вещей	158

Параллели

Veni vedi vici	160
След	162
Как летели сарматские кони	163
Крепость	164
Смирна.	165
Прости, что тревожу	166

Содержание

(по алфавиту)

Veni vedi vici	160
А внутри	140
Безгрешное	108
Вдохни	102
Ведьмина сказочка	58
Весна будет скорой	149
В одно предложение	150
Возрастное	138
Волхвы	115
Время, которого нет	24
Время падающих каштанов	93
Всё остаётся	152
В эту погоду бы	34
Галатейское	87
Глагол	98
Глаза их бездна	50
Глина	101
Гордиево	88
Даже тогда	39
Дед	22
Держи меня	78
Дурочка	92
Ева	107
Единороги	51
Единственный, кто	27
Если	26
Ещё	29
Жало	120
Здравствуй	68
Здравствуй всегда	40

Зло и сладко	154
И говорил он	122
Идея	100
Из междуречья	70
Из приходящего	121
И ясьень в дедовом дворе	25
Как гаммельнские дети	147
Как летели сарматские кони	163
Кали-Юга идёт к закату	35
Кизиловое	131
Кольцо	89
Крамола	113
Крепость	164
Кто-то и ты	132
Март	139
Мечта	82
Мне бы, веришь ли, ни о чём	55
«Мне скучно, бес»	65
Муравьиное	21
Над бездной	76
Нам всем, зашедшим далеко	20
Начало	49
Не апокриф	103
Недосмотренное	60
Немного, что истинно	28
Неожиданное	130
Непрактичное	129
Неприкаянные слова	135
Неспящая	63
Нет ничего	155
Не трепыхайся, бела рыба	56
Не указ	142
Ничья	97
Ной сидел на бревне	110
Но ромашки растут	42
Одинокое	128
Ожидание	84
О музыке, мире, тутовом дереве и не только	44
Она	54

О, Саломея.....	118
О сущности вещей.....	158
От Каина.....	109
От колодца.....	141
От Лилит.....	104
От Медеи.....	81
От мойры.....	79
От яблока до яблока.....	37
Паданец.....	96
Первооткрывательское.....	17
Перспектива.....	151
Письма древоточца.....	156
Письмо.....	66
Плотник.....	117
Погост.....	90
Позднеэдемское.....	105
Полночь тучи тишина.....	144
По праву ветки.....	46
Последний бастион.....	137
Принимай неизбежное.....	33
Про дауна и бога.....	95
Прости, что тревожу.....	166
Про финистов.....	59
Пчёлы.....	16
Рефлексивное.....	134
Решение.....	85
Рыба.....	111
Сад.....	106
Семейное.....	30
Сивилла баб'Маня.....	77
Ситонское.....	43
След.....	162
Смирна.....	165
Смотри.....	153
Снегири.....	19
Спи, не заглядывай в глубину.....	53
Сто лет назад, четвёртого числа.....	71
Такое время.....	73
Так плыви же, Харон.....	80

Тёмное время	136
Трудно быть	124
Тут намешано-наворочено	32
Ты уже знаешь	145
Ужин.	83
Час быка	94
Я — женщина	126
Я не знаю, как называется это место	48
Я пишу тебе отсюда	62

Истоки

Пчёлы

У прадеда были дети. Сначала их было много,
но к возрасту патриарха остались лишь дочь и сын.
У прадеда были пчёлы — он был для них добрым богом,
и часто терялись пчёлы в пространствах его седин.

Младенец, без года ангел, мой брат, вызволял их смело
из дебрей колючих прядей окладистой бороды,
и мама — почти девчонка — тревожилась и немела,
не зная ещё касаний прожорливой пустоты.

А прадед смеялся басом и целовал ладошку,
и пах молоком и мёдом день старшего из мужчин,
но время брело к закату, серело ничейной кошкой
и вышло совсем в итоге к полудню сороковин.

Я видела бы всё это, когда родилась бы прежде,
чем прадед мой лёг на лавку и сделал последний вдох,
но, выждав четыре года, поймал меня частой мрежей
в бездонной пучине света уже не пчелиный бог.

Нет брата, а я осталась — не лучший хранитель рода,
во мне много слов и хлама и мало родной земли,
но видела — шёл мой прадед по мостику над Смородой.
... А может, не шёл он вовсе, а пчёлы его несли?...

Первооткрывательское

Хлеба насущные цвели,
в тон василькам носились платья.
Год первый вышивался гладью,
и утро с запахом оладий
влекло меня на край земли.

Да, край земли тогда был близко,
но тесен был манежный плен —
хоть я до маминых колен
и доросла, до перемен
не доросла ещё Ириска.

Что ж, в утешители призвав
нос целлулоидного зайца, —
а чем в манеже утешаться? —
точила зуб на домочадцев
и думала, как мир неправ.

Ведь я тогда постичь могла
закон земного притяженья —
и был разломанным печеньем
пол заманежья сплошь усеян,
но вновь сердитая метла
внеся по-быстрому поправки,
сметала начисто мой труд.

Я поняла потом — не ждут
моих открытий.
Мир зануд — «сиди в манеже
и не мамкай!»

Но время шло, и я росла,
учась по ходу притворяться —
хоть тяжек груз цивилизаций,
но детству свойственно смеяться —
и, в общем, выросла мила.

А вскоре тягостный манеж
преодолен был между делом.
Мир показался твёрдым телу,
но тело оказалось смелым,
и не подавлен был мятеж.

Я помню этот сладкий миг
прорыва за черту запрета —
потом ни поцелуй брюнета,
ни дым от первой сигареты
того триумфа не затмил.

Там за порог звала судьба,
дышало небо васильково,
мне, низвергающей основы,
мир открывался гранью новой,
и спели жёлтые хлеба...

Снегири

Корми синиц, синицы — суть зимы.
Конечно, сцену делают детали,
но снегири давным-давно пропали,
и некому их вспомнить, горемык.

А я, представь, всё помню, как вчера:
мой третий год, и хрусткий снег, и санки,
и злой мороз, и мама спозаранку
меня везёт, а времена утрат
так далеки, что кажется — не тронут,
пройдут по краю, мимо, стороной...

... Сижу, мотаю круглой головой:
платок, две шапки..
Тощие вороны в борьбе за корку;
полутьма и свет —
в ряду фонарном прочерки морзянки,
а рукавички так пропахли манкой,
что хочется не есть её вовек.
И тяготит утерянный совочек —
а без совочка как, скажи, зимой?

Но вспыхнут вдруг, не виданные мной,
в рябинных пальцах алые комочки.
И я в порыве: «Ма-маа! Пасматли!
А это кто?» — и сердце бьётся шало.
И смотрит мама.
После, одеяло
поправив: «Вот смешная... Снегири...»

Нам всем, зашедшим далеко

Всех нас, зашедших далеко
за край мифического счастья,
вскормили тёплым молоком
с добавкой нежного участия.

И были мы тогда малы,
носили майки и колготки,
ломали механизм юлы,
лупили в днище сковородки.

Мир был огромен и открыт
и для познания доступен,
и не был вычерпан лимит
чудес и макаронин в супе,
а гормональный дикий шквал
дремал тихонечко под спудом,
и ты в семь вечера зевал,
и я спала лохматым чудом.

А нынче — что-то не до сна,
гнетёт избыток кофеина.

Моя волшебная страна,
ты вечно пролетаешь мимо,
и мне, ушедшей далеко
за призраком пустой надежды,
сейчас не видно маяков —
хотя их не было и прежде.

Нам всем, потерянным в себе,
уже не светит,
и не греет
алмазный блеск седьмых небес
под песни ветреных апрелей.

Муравьиное

Наш мир был юн и жесток — мы были юны и жестоки,
на лекциях ты рисовал тела обнажённых дев,
а я на песке вела замки, мосты, дороги,
и в жерле львиного зева жил муравьиный лев.

Он пожирал живьём зашедших за край букашек,
а я всерьёз опасалась, что лев очень много ест,
но взгляд фасеточных глаз надменен был и вальжен,
и я покорно несла по жизни свой тяжкий крест.

Мой жертвенный коробок был ужасом мух наполнен.
Я жрица была, он — бог, дарующий в жвалах смерть.
Нуждался ли он во мне? Вопрос, безусловно, спорный,
но стоит ли смысл искать, когда тебе только шесть?
Я поклонялась тогда прозрачным ячейкам крыльев,
и сердце срывалось вниз, когда прикасалась к ним,
и я умащала их отборной цветочной пылью,
и бог принимал мой дар, воистину терпелив.

А в мире, таком большом, молились зерно и будни,
в набросках корявых «ню» читалась в грядущем я.
Но ты-то пока не знал — свободен ещё и блуден,
а мне муравьиный лев был центром всего бытия.

Я выросла, ты созрел, пришёл к понимающую сути,
а я приняла давно, что каждый из нас — термит.

... С учётом моих заслуг и скормленных мушких судеб,
когда забреду за край — как думаешь, пощадит?

Дед

Мой дед, которого я боялась
(почти не знала из-за болезней),
ругмя ругал за любую шалость,
но вскоре миловал.

Ветх и тесен
пиджак был,
мелко дрожали пальцы,
в петлю тугую «дурніцын гузік»,
четвёртый сверху, не шёл сдаваться.

Юзеф, Иосиф, по-свойски — Юзик,
был грузен, грозен, неразговорчив,
страдал закрытым туберкулёзом,
хрипучей астмой
и мог пророчить —
когда не рвался входящий воздух
в его измученных альвеолах.

В песке царапал засохшей веткой
начало мира — овал.
«Ab ovo»
узнала позже, тогда же в клетке
гортани билось другое слово —
просилось в люди, чтоб стать вопросом,
но дед был жизнью почти доломан.
Он добывал из кармана просо
и сыпал птицам, сипя натужно,
а я пугалась и замолкала
на робком слогe «де...».

Поздний ужин
был данью времени вне страданий —
не знавший голода не оценит,
да и не всякой закрыться ране.

За час до сна, где дневные цели
уже утратили притяженье,
хотелось чуда — и чудо было.
Моргала свечка, сгущались тени,
сгибалась плоскость листа, и следом
шуршало тихо и шестикрыло
всегда правее и сзади деда.

Взмывали птицы, бежали звери —
так оживала в руках бумага,
и пусть он знал, кто за чёрной дверью,
но я не помню светлее мага.

Время, которого нет

Время, которого нет, оставляет след,
только я вряд ли готова идти по следу.
«Жить не спеши», — говорил мне покойный дед.
Я доверилась деду.

Время дымило с ним крученный самосад,
вязкой слюной плевало в тени под клёном.
Его вместе с дедом в четыре года сажал мой брат.
Теперь он сломан.

Срезан, вернее будет. Судьба вещей
строго функциональна — людской не краше.
Дед слушал время, худшее, как кощей,
и гулко кашлял.

Время бубнило — да, в общем-то, ни о чём,
верно, и времени нужно порой открыться.
Дед его год за годом держал плечом
и на границе.

Ну, а потом, перейдя девяносто лет,
разом устал и в час ночи собрал котомку.
«Время, которого нет, оставляет след», —
обронил негромко.

Вот я сейчас и думаю, что к чему.
Время пока не ходит на посиделки,
но присылает в десятилетие по письму
и горсть земельки.

И ясень в дедовом дворе

И ясень в дедовом дворе,
и муравейник суетливый,
и паданцы под старой сливой,
и август в дождевом ведре,
настоянный на спелых звёздах;
и липовый тягучий воздух;
и колосок незрелой ржи,
засушенный в пространствах книги;
и подкрыльцовые ежи —
несуетливы, темнолики;
и песни, свитые дроздом,
и яблоневый сад,
и дом,
и полумрак пустых сеней,
и страх,
и бег густых теней,
и взгляд взыскательный с икон,
и вздох лампадного огня —
всего лишь миг, минутный сон
того, кто сроду отрешён,
того, кто выдумал меня
на склоне дня...

Если

Если долго стоять у могилы брата,
то с гранита тусклого сходят даты,
и портрет, давно не хранящий сути,
обретает едкий характер ртути —
вот черты плывут с дождевой водою,
обнажая главное.

Подо мною —
как черта, что держит метаний сумму —
глинозёмный слой, благодатный гумус,
где лежат без жизни сухие зёрна.

Можно верить в то, что от века спорно:
в беспримерный суд, в воскресенье плоти,
но меня сомнение вновь приводит
на сыпучий край безразличной ямы.

На ладонях почвы — бугры да шрамы,
что таят эпохи ещё до homo.
Среди них и горе моё фантомно,
и сама я — тень.
Да простится тени,
что ведут не к свету её ступени.

День ещё один не пройден, так прожит.
Вязнет в глине мысль, и сегодня ноша
тяжела, как тёмное время суток,
но люблю без веры, вразрез рассудку,
и держусь за память, за тень возврата,
за пригоршню праха с могилы брата.

Единственный, кто

Он был единственным, кто знал меня без купюр,
и лишь ему удавалось вот это протяжное «Ир-р-ка-а»,
и он иногда называл меня дурой,
но чаще сравнивал с Деми Мур
и при этом учил не выглядеть «под копирку».

У моего сына его характер, его глаза,
и хоть они разминулись на десять лет и ещё два дня,
но ребёнок уже настолько мужчина, что умеет сказать
«я люблю тебя» — так, что слова звенят
совершенно в его манере — больших мужчин,
от которых исходит сила и множит свет.
Их всё меньше в мире несостоявшихся величин,
их всё больше там, в разлившейся синеве.

Я любила его, люблю и буду любить всегда —
и пусть эта любовь не приумножит небо,
но пока не обнимет меня густая, как мёд, вода,
брат во мне укрыт, как мякиш под коркой хлеба.

Да, я пишу каждый год эти письма в тёмное никуда,
и слова плывут по вязкой, как сон затяжной, реке
в непрочном кораблике сложенного листа,
чтоб прикоснуться к тающим пальцам его, губам, щеке...

Немногое, что истинно

Немногое, что истинно — твоё,
но этого немногого довольно,
чтоб свет был светом...

Тонкое литьё ограды парка,
запах влажной хвои,
дорожки, занесённые песком,
и жёлуди, набрякшие томленьем;
кот, дышащий пушистым животом;
скамеечные волглые колени;
прописанные бледно облака,
прозрачный холодок седьмого неба;
и четвертинка мятого листка,
и буквами удержанная небыль;
и «сад камней»,
и бледно-жёлтый мох,
и вечер, наливающийся синью;
и сын, в глазах которого ты — бог,
верней, богиня.

Ещё

Ещё не стынть, ещё тепло и сухо,
ещё прозрачна синь и глубока,
но дребезжит озлобленная муха,
открыв краугольность потолка.

Ещё сады щедры на многоцветье,
ещё не сняты сочные плоды,
но над землёй отца разносит ветер
не семена, а горький белый дым.

Ещё нет охры, золота и меди,
ещё не беспределен в парке звук,
но непокойно кружат в танце ведьмы,
одевшись в тополиную листву.

Ещё не боль принявших поражение,
ещё не страх увидевших черту,
но субъективно близок возраст тени,
умеющий молчать начистоту.

Семейное

В лице взрослеющей дочери проступают черты и лики тех, давно ушедших, но пока остающихся на выцветших фото.

Она, сидящая ко мне вполоборота,
сейчас похожа на юную рысь — глаза её полудики,
насторожены и миндалевидны,
высоки скулы.

Только что была рядом, но опять ускользнула
в свой собственный суверенный лес
жизни идущая наперерез.

Там нехоженных троп не счесть,
по какой она бродит теперь — Бог весть,
да разве ещё фамильный ясень.

А я остаюсь в сегодняшней ипостаси:
мать взрослеющей дочери — это почти приговор.
Всё труднее жизнь принимать без шор.
Конформистка по сути,
но зачем-то мечтаю о чуде
очередного прорыва за грань.
Подавленные слова оцарапывают гортань,
но я молчу, хоть молчать невмочь.

Наблюдаю дочь,
несущую в себе прежних, давно ушедших,
молчаливых мужчин, терпеливых женщин,
и её губами нежданно-негаданно улыбается мне
длинная цепь поколений с исходными звеньями,
утерянными в немислимой глубине.

Оттенки яблока

Тут намешано-наворочено

В ней намешано-наворочено: и кровей, и чертей, и сказочек.
Её в детстве считали порченой, ну, а после признали лапочкой,
а сейчас она точно — кошечка, хоть не хочет, а просто дразнится:
закрывает глаза ладошками и мурлыкает «... восьмикла-а-а-ссница-а-а»,
и смеётся — играет, стервочка, ведь не любит, а так... ласкается.

С червоточинкой, злая девочка, потерявшая нить скиталица,
а накручено-наворочено — там Хайнлайн вперемешку с Маркесом,
с ней непросто, но междустрочия обозначены красным маркером.

Он не знает, чем всё закончится: в ней огонь, но прохладны пальчики,
в нём — столетнее одиночество постаревшего Принца-мальчика,
но всё ту же в клубок свивается, всё острее согреться хочется.
... Спи, Алиса, усни, красавица, чудо-юдо моё без отчества...

Принимай неизбежное

Не отзывайся, пока она ходит вокруг да около,
выманивая тебя на голос подобно сладкоречивой сирене.
Не поддавайся на провокации скользкого шёлком локона —
он многожды перекрашен и давно сам в себя не верит.

Впрочем, нет смысла в увещеваниях, пропадут втуне.
Принимай неизбежное, открывай шлюзы, утопай в нежности.
У неё в роду шальные пульсары и неукротимые лисы-кицунэ,
а также одна куртизанка, владевшая даром изящной словесности.

Будь готов к чудесам — она их выпекает быстрее, чем пончики,
но не вздумай ахать, если чудо не дастся в руки.
Она, конечно, не ангел — так и во ржи растут колокольчики,
зато с ней быстро проходят приступы душной скуки.

Но всё же, пока она только ходит вокруг да около,
уже подобрав ключи, но вволю не наигравшись,
подумай, ощущая всем сердцем скольжение огона —
от таких никогда не уходят.
... Даже расставшись...

В эту погоду бы

В эту погоду бы, по-хорошему,
скрыться от мира в домашней крепости,
а не топтать сапогами крошево
в степени средней пока свирепости.

Верить, когда бы мне до рождения
дали возможность такого выбора,
не родилась бы я, без сомнения,
градусов на семь правее Выборга,
в той широте, где отнюдь не зрелищно,
где многозимье сивее мерина,
а, в африканской геенне сверзившись,
в руки саванны себя доверила.

Впрочем, к чему это пустословие,
если в кармане права синицыны:
сетуй, не сетуй, да вот по крови я
полностью славянскими только лицами.

В эту погоду бы, по-хорошему...

Вот она, крепость, почти притопали!
Голову в небо, раз у подножия —
метров двенадцать.
Сродни акрополю.

В мире настывшем одним спасаются —
лаской-глинтвейнами-шоколадками.
Верно, и мной — ещё той лукавицей.
Снова целую...
Попробуй — сладко ли?

Кали-Юга идёт к закату

Вишну уронит семя в пупок глубокий
(видишь, на пол-фаланги вошёл мизинец...),
значит, к рассвету, из вод изначальных соткан,
вырастет лотос, и...

...Если пройду низину
времени, где заблудились слова и тени,
то расскажу, конечно, витиеватей,
ну, а пока, прости, — через три ступени,
и опуская чувственность так некстати.

В общем, проснётся Вишну, разбудит Брахму,
что в единичном лике являет четверть
целого образа;
Брахма подвесит драхму
нового солнца в мире, не зная смерти,
и понесётся время, не видя цели,
но ощущая плотское острым нюхом.

...Если бы руки гладили, звали, грели,
если бы губы, нежно касаясь уха,
словом ласкали, я б рассказала ярче,
но...
Отстранение — форма и суть защиты.

Слушай, что будет, седой мой усталый мальчик,
слушай, мужчина, — тот, в чьей ДНК прошита
тяга, потребность, сравнимая с болью роста,
быть объяснённым, принятым и любимым, —
всё повторяется.

Время обложет остов
этого мира, и память об эпонимах
разом утратят реки, моря и горы —
так возвратится к форме времён начала
сущее.

...Если б меня отпустила гордость,
я бы, наверно, о главном сейчас кричала,
но...
Полночь над городом, сыплются сны и звёзды,
время в словах теряться и слово прятать.
Окна открыты.
Дом полнит настывший воздух.
Спи.

Кали-Юга идёт к закату...

От яблока до яблока

Проснёшься — в ладонях яблоко Гесперид
светом продлённой юности так горит,
что изумиться некогда — кто, откуда?

Такое чудо,
безусловно, падает с потолка —
так сжимай покрепче, лелей в руках,
а не то вороне — воронье горе.

Яблоко явилось издалека,
оттого и держится свысока,
но атлас на ощупь и пахнет морем
и полынной горечью тех дорог,
где ходил до света ничейный бог.

Восхищайся тихо.
Капризна милость
всякого верховного существа,
но во всём действительность такова:
если получила, то отличилась.

Впрочем, к чёрту частности.
Посмотри:
спит, как подневольные и цари,
после многих подвигов непробуден,
не Геракл, ну что ты, Эрот с тобой,
не Улисс потерянный — свой герой,
спутник на орбите банальных будней.

И во сне уловит призывный взгляд,
и глаза откроет, и скажет: «Баст,
яд миндальный, hopeu, малышка, здравствуй».
Хоть для поцелуя круглится рот,
протяни ему небывалый плод —
не соблазна, но беспримерных странствий.

Нет, всё будет лучше, чем в прошлый раз:
змей бессилен, мир этот сшит на вас.

Удивляйся, избранная из женщин:
проведёт по коже языком,
чуть прикусит пальчики, а потом...
«Прочее — твоё...», — шепчет.

Шепчет...

Даже тогда

... И тогда, когда взгляды,
соприкоснувшись, на миг отпрянут,
а после снова сойдутся в маленьком поединке,
и тогда, когда воздух станет густым и пряным,
но ускользящим,
словно чья-то жизнь на дагерротипном снимке.

И тогда, когда губы твои
коснутся дыханьем моих ключиц,
а тяготение тел станет острым и обоюдным,
и ты не поймёшь,
чего хочешь больше —
смять меня или упасть ниц,
объявляя новоявленным чудом.

И тогда, когда мир сомкнётся,
образуя остров,
и пальцы твои войдут в реки моих волос,
и время разделится
на ушедшее «до»
и неизвестное «после»,
а то и вовсе, с цепи сорвавшись,
пойдёт вразнос:
закончится разом
и тут же начнётся снова —

даже тогда, слышишь,
я
не скажу
ни слова...

Здравствуй всегда

Целую пальцы твои кончиками своих пальцев...
Здравствуй...

Ты тоже чувствуешь, что мир сжался
и замер на расстоянии одного удара
вечно спешащего сердца?

Хотя у нас безвизовый коридор,
мы, конечно же, злостные невозвращенцы
и нарушители собственных границ.

Ты адепт новой веры моих открытых ключиц.
Я для тебя раздеваюсь — обязуешься чтить?
Читать между строк и,
не веря ни единому слову,
верить в меня?

Слова...
Это слова нами играют,
обещанием мая манят,
вот-вот захлопнется западня...

Клак...
Так тихо...

... Пальцам, сведённым в «замок»,
невдомёк, что в мире существует
что-то ещё.

Целую тебя непоследовательно:
губы...

и снова губы...
и снова...

плечо.

Развиваю серию поцелуев
на кончиках пальцев.

В кои-то веки не опасайся данайцев...

Время бьётся мобильно,
упакованное в пластик
руками трудолюбивых китайцев.

Простим ему вечную спешку:
у нас тысяча лет впереди,
как у всех, кто уже обращён
в эру открытых ключиц,
доверчивых пальцев —
чем и выведен из-под влияния
временных зон.

И пускай в мир заоконья приходят
гнетущие холода —
целую пальцы твои...

Здравствуй всегда...

Но ромашки растут...

В одну из ночей, задремав под защитой его руки,
ощущаешь внезапно какой-то внутренний рост,
прислушавшись, понимаешь:
это ромашки и прочие сорняки,
проросли сквозь прочнейший панцирь,
пробились-таки,
и время само себя ухватило за хвост.

Ночь, замкнувшись, стала вечностью и кольцом,
звёзды ссыпались льдинками в чей-то пустой хайболл.

Он в тебя обращён, он готов стать твоим близнецом,
вас Творец вырезал из неба одним резцом,
а потом обронил с ладони на произвол.

Но вы всё же нашлись — на счастье ли, на беду,
отыскали друг друга, единой душой срослись.

Твоё имя будет последним, упомянутым им в бреду,
его имя в тебе будет биться с прочими наряду,
когда, оступившись, ты камнем сорвёшься вниз.

Но ромашки растут, распускаются васильки
и, возможно, случится какой-то иной исход.

А пока ты уходишь в полёт под защитой его руки,
и тебе снятся глупости — радуга, мотыльки,
и Господь улыбается, пряча в ладошку рот.

Ситонское

И даже если ты научишься пить `узо,
не умаляя водой,
не унижая льдом терпкого вкуса,
как пьёт его этот никогда не спешащий грек,
везучий, в общем-то, человек,
по праву рождения черпающий из временных рек
годы, лишённые суеты,
так вот,
даже если искусству жизни случайно научишься ты,
а после, на исходе почти что вечного дня,
уловив ритм одного на двоих дыхания, научишь меня
единению, наполняющему постепенно, как ручьями растёт поток
(да, я ещё не решила, будешь ли ты нежен или немного жесток...),
нам всё равно не хватит каких-то пяти минут.

Чтобы постигнуть главное — нужно родиться тут,
на стыке высокого неба и моря, солёного солоней,
на берегах которого и сейчас ещё плачет о сыне неутешный Эгей.

Только тогда время будет ласкаться к твоим рукам,
стекая с пальцев покорной водой,
и ты возьмёшь её сам
столько,
сколько понадобится для постижения житейского смысла,
гармоничного, как пифагоровы числа,
простого, как хлеб, погружаемый в масло оливы:
есть только ты,
мир
и бесконечные воды времени в тихом морском заливе.

О музыке, мире, тутовом дереве и не только

Если бы звук был доступен для осязания, то
эта музыка в чутких ладонях текла бы иранским шёлком,
где тревожащий алый и лаковый золотой,
обретая змеиные сути, струились бы по основе тонкой —
чёрной, словно изнанка заласканного солнцем дня,
чёрной, точно зрачок вставшего на дыбы кохейлана,
чёрной, будто зерно, узнавшее поцелуи огня,
и сменившее юную зелень на горечь кофейной тайны.

Если бы музыка стала шёлковой тканью, то
я укрылась бы в её возрождающей чувственной неге,
растворилась бы,
сплетаясь с текучими змеями
и царственной чернотой,
в мире, пахнущем пряным соблазном,
где никто не знает о снеге,
толкающемся в раздутом брюхе неба,
нависшего над
городом, перенасыщенным числами,
мною,
людьми
и серыми мыслями,
придавленными к головам
вязаной шерстью
и потускневшим фетром.

Если бы мир принял меня,
я проросла бы в нём тутой,
в чьих листьях когда-нибудь свил кокон
начинающий шелкопряд,
и после стала бы тонкой нитью
эха серебристых трубчатых колокольчиков,
разучивших мелодию ветра.

Если бы я стала
тенью,
частью,

тутовым деревом,
и после — серебряной нитью,
я могла бы вернуться сюда
медленно тающим звуком
и замереть у твоих ладоней —
только стоит ли ловить
то, что живет не дольше рассыпающейся секунды?

Руки,
музыкальные руки твои знают об этом:
губы шепчут «вернись»,
но пальцы уже обрывают нить
одним прикосновением к полому серебру — «р-р-румм!».

Если бы...
Но ткань ускользает,
но рвётся тончайший шёлк волнующего Востока,
чёрного, точно зрачок вставшего на дыбы кохейлана,
золотого и алого, словно змеи,
охраняющие покой забытого бога,
и пряно-горчащего, как встреча перца
и смолотого кофейного зерна,
соединившихся тайно.

По праву ветки

Когда пряла Ева, и пело веретено,
и Адам целину поднимал за иссохший гребень,
может, подспудно, но зрело уже зерно,
из которого много позже пробился стебель,
ставший деревом о семи миллиардах ветвей.

Впрочем, не в цифрах дело, да и не в ветках,
а в чём-то главном, заложенном в естестве,
низведем до ручек плуга библейского предка.

По праву одной из веток я расскажу тебе,
ветке, растущей к свету немного дольше,
но сохранившей свойство не огрубеть,
всё, что я знаю о главном, а ты продолжи.

Если я чувствую, как животворный сок
полнит мои сосуды теплом и светом,
значит ли это, что ветки коснулся Бог,
тот, что непознаваем и мне неведом?

Нет, это значит, что я для тебя полна,
нет, это значит, что я преломить готова
свет и тепло на две равные доли.

Нам
для воплощения замысла тоже дается слово.

Я говорю его.
Слушай.

Мое «люблю»
вряд ли изменит историю, но в том отрезке
ценность истории разом идёт к нулю,
где хэппи-энды малые так же редки,
как зёрна солнца, просыпанные в февраль,
как неубитые агнцы — в Завете Ветхом.

Нет здесь финала и вряд ли нужна мораль...

Соприкасаюсь с тобой летяще — по праву ветки.

Ведьмины сказочки

Я не знаю, как называется это место

Я не знаю, как называется это место,
да и стоит ли это место хоть как-то звать.
Здесь так тускло и сыро,
как будто тут правят мессу
земноводные твари.
Есть тумбочка и кровать,
стул с подломленной ножкою,
стол в ширину тетради,
нож,
тарелка,
невнятная чашка,
потёртый плед.

Скудный быт.
Не подумай, не жалуюсь, бога ради,
но одно беспокоит — упрятанный в ставни свет.

Он сочится в щербатые щели.
Сбегают тени,
занимают углы и ниши и там дрожат.
Мне понять бы, чего бояться они на деле,
только стоит ли, право слово?

Обычный ад:
полутьма, полусвет, полутон — никаких зацепок.
В одиночке моей то ли день, то ли ночь, а так
можно быть и писать стопки новых пустых нетленок,
забывая, что дверь не заперта.

Только шаг —
и откроется вся Вселенная с чудесами,
но не думаю, что я скоро уйти смогу.

Время тянется слизнем и прячется за часами,
и проходит немая вечность по волоску
междумирья, в котором стыннут слова, сюжеты,
неоткрытые судьбы, несложненные стихи.

Не хватает немногого — кофе и сигареты,
но зато я пишу.
Бесконечен мой черновик.

Начало

Слушая вьюгу, пожравшую свет, дороги, дома,
вспоминаю себя маленькой Гретель,
которую даже Гензель покинул
в пряничном домике, где ворчащая ведьма-зима
точит ножи метельные, сгорбив сухую спину.

Но в бормотании мерном «бу-бу, бу-бу»
слышится страх, потому что она не вечна —
смерть её медленно тянет дым и сипит чубук.
Блеет в углу жертвенная овечка,
но — «мене, текел, фарес».
Зиме пора
горло открыть, оголяя пустые груди.

Сколько ни высыплешь снежного серебра,
время не выкупить, хоть неподкупность судей
ранга высокого не проверял пока
тот лишь, пожалуй, кто умер ещё до смерти.

Точит ножи старуха.
Дрожит рука.

Тянутся корни сосен в продрогшей тверди,
будят уснувших — тех, кто условно жив,
и занимают у тех, кто условно умер,
атомы новых смыслов.
Ожить спешит
то, что собой всегда представляет в сумме
мир, полный терпкой боли, поскольку боль —
факт, подтверждающий право на продолженье
рода.

Вода в клепсидре уходит в ноль,
смерть обрезает надежду и нити тени.

Быть по сему.
Я свидетель.
Мой малый долг —
видеть событие, прячась у балюстрады,
верно, исполнен.

Бегу до семи щеколд.
Смерть провожает внимательным долгим взглядом.

Глаза их бездна

Шуршат, тревожась, камыши,
на дне ночном не спится многим.

Смотри, как щиплют нити ржи
единороги,
бродя по руслам древних рек,
познавших мель и ставших полем.

Единорожий длинен век,
характер — вздорен.
Глаза их — «бездна, звезд полна»,
а губы ласковы и терпки.
Их глубина страстна, страшна.

В них мастер лепки
смятенный, непокорный дух
вложил, чтоб множились печали,
и дал на откуп темноту —
и тьму венчают
луной облитые тела.

А ты светла, чиста, убога,
жила бы и жила под Богом,
но жребий пал, и зёрна зла
в тебе пробилась, недотрога,
пока в мир тёмный ты вела
единорога.

Единороги

С утра охотились на ведьм,
потом в таверне пили пиво.
Хозяин, бурый как медведь,
косился сумрачно.
Не диво...
Весь вечер дергалась щека,
и левый глаз сводило тиком.

... Была легка её рука
и пахла зрелой земляникой,
но жар пощёчины взорвал,
отравой пробежал по жилам.
Гнев,
голос зверя,
дверь,
подвал,
зажатый рот...

Собака выла.
Тоска росла, как снежный ком,
и пьяный гогот отдалялся.

Он дождь ловил иссохшим ртом.
Мистраль предзимнего Прованса
бил по лицу.
Ещё, ещё.

Он помнил многое, но это...
Забуть бы хрупкое плечо,
бездонность глаз и зёрна света,
со смертью ставшие ничем...

Потом, на дружеских попойках,
он избегал подобных тем —
сводило глаз, и было горько.

Не жил, но умер.
Не воскрес,
хоть на Суде имели вес
следы копыт на той дороге,
которой в заповедный лес
ушли её единороги.

Спи, не заглядывай в глубину

Шепчут ей: «Спи, не заглядывай в глубину.
Там, в глубине, на дне, ждёт предвечный кит».

После уходят, оставив её одну.

Девочка тихо дышит, и дом молчит.
Дом помнит многих, наученных не смотреть.
Всё у них ладно: карьера, любовь, семья,
тайные связи, приторней, чем грильяж,
многая славные лета, ручная смерть.

Девочка дышит, как дышат дети любых широт.
Шёлковы локоны длинных её волос,
полночь в глазах оттенка ивовых лоз.

Гулко вздыхает кит — зовёт.

Жмурится дом, дому страшно увидеть, как
девочка, тихая от негустого сна,
встанет на край раскрытого в ночь окна
и в пересушенный летом голодный мрак
сделает шаг.
Но не смотреть нет силы — и видит дом:
вот, раздвигая вяжущий кислород
телом, ладошками острыми и хвостом,
рыбка негромкая в небо плывёт, плывёт.

Она

Она подбирает птенцов, потерявших инстинкт гнезда,
и кормит бродячих кошек паштетным фаршем.

В глазах её спящих — настывшая немота.
В ней тёмные тысячи лет, и немногим младше она,
чем пустыня, простёртая на восток.
В узлах синих вен заблудились чужие тайны,
поэтому век её тяготно колченог,
как брошенный пёс, доживающий при вокзале.

Я очень боюсь под ладонью её уснуть —
там эхо потерянных бродит в холмах Венеры,
но в складках ладонных, текучих, как злая ртуть,
дозрели слова для открытия новой эры.

И я прихожу к ней, целую её висок,
в котором давно не пульсирует жажда жизни.
Щебечут подранки, мурлыкает кот у ног,
и тянется вечность — тягучей, чем след от слизня,
чем тысячи длинных её, занесённых лет,
чем пропасть песка, пересыпанного в ладонях.

Но вновь она гладит меня и ведёт на свет,
хотя понимает, что время вот-вот догонит.

Мне бы, веришь ли, ни о чём...

Мне бы, знаешь, начистоту,
наизнанку наговориться,
только снова душа-лисица
пьёт предвечную пустоту.

Неродившихся слов река
всем несбывшимся глубока,
не увидеть бы, что глядится, —
в этих водах века, века.

Время тянется, не спешит,
стелет простыни для ночлега.
Пахнут стаявшим стылым снегом
лапы лисьей моей души.

Мне бы только успеть уйти,
прежде чем, пробудившись, воды
бесконечной реки Смороды
встанут пламенем впереди.

...Мне бы, веришь ли, ни о чём,
мне бы, слышишь ли, не об этом.

Ты побудь мне ещё плечом...
Хоть до света...

Не трепыхайся, бела рыба

Плывёшь в нутре большого джипа,
считаешь, мир на блюде дан.

Не трепыхайся, бела рыба,
насадит время на кукан.
У времени свои примочки,
крючки, грузила, поплавки,
таскает люд поодиночке —
покамест сетью не с руки.

Но, как рачительный хозяин,
обходит заводь тихих вод,
и новый день мальки встречают,
и мир им о любви поёт.

Не всё чудесное полезно,
хоть часто новичкам везёт,
но терпеливо дышит бездна,
и ждёт предвечный рыбовод.

Когда-нибудь и ты дозреешь,
и время, приманив блесной,
рванёт — и приобщит к трофеям.

Не слыша жалобы немой
на то, что воздух густ и резок,
и что кружится голова,
отсортирует в недовесок,
поморщившись едва-едва.

И ты уловишь, угасая,
тот свет, который был всегда,
но смерть придёт к тебе, босая,
ни в чём не ведая стыда.

Спроворит немудрящий ужин
и скатертью покроет стол,
и выберет из сотни дюжин
не самый значимый глагол —
чтоб на отпущенной минуте,
в закат, что зрелостью вишнёв,
тебя подать на старом блюде
сентенций, сколотых с краёв.

Ведьмина сказочка

Ведьино брезжит время, третий заветный час,
до петушиных криков — вечность, до жизни — пропасть.
Теплится еле-еле ватт в двадцать пять свеча,
тянется нить и колет.

Свой сочиняя Локос,
бьётся с драконом долга в целом прекрасный принц,
да чарований быта не разрубить с наскока.
В небе давно не слышно белых и вольных птиц,
но не устанет ведьма верить в чутьё иголки.

Нужно молчать — пусть больно, пусть исколола в кровь
пальцы, касаясь ткани из непростой крапивы.
Если любовь и стоит — то не дворца и крон,
только вот если просит — то запредельной силы.

Значит, сжимая зубы, снова сплетать в ночи
нити, слова и веру в то полотно, что сможет
выдержать междумирье, проклятых излечить
[жаль, не тебя, мой старший, жаль, не тебя, хороший...]

Время доело пряник, время достало кнут.
Свет просочился в щели,
вышел на поле пахарь.
Помни, признали чудом — значит, вот-вот распнут,
впрочем, сгодится ведьме хворост сухой и плаха.

Если гореть — то ярко, если любить — сполна.
Если расти — то в небо, если смотреть — то в душу.

... Нет в этой сказке точки.
Нет и покоя нам —
ведьмам, над чьей судьбою лебедь ничейный кружит...

Про финистов

Он летал к ней Финистом, ясным соколом,
бился в окна яростно, после — оземь.
А она дышала тихо, садилась около,
думала «... поиграет — бросит...»

Он ей клялся силами всех стихий,
что настроен более чем серьёзно,
но в нутре его кольцами вился змий,
просыпая блёстки.

Улыбалась блёкло, сжимая ворот,
но глаза темнели, горело тело,
а его ладоней прозрачный холод
обжигал смятеньем.

Он дарил ей кольца и звал невестой,
но с рассветом таял, и в доме тихом
кисло молоко, не всходило тесто,
и вздыхало лихо
в темноте запечной, в пыли уютной,
о судьбе потерянной, девке смятой.
А она бледнела и сохла, будто
пил её проклятый.

Он летал к ней Финистом, только коршун
победил в нём тягу к святому свету.
Да, он плакал после, но много горше
пёс оплакал душу, уйдя по следу.

Недосмотренное

Преднобринасть тучнеет на юго-востоке.
Винная ягода стала почти вином,
дни мерно топают пони коротконогим.

...Спящим красавицам снятся единороги,
единороги забавятся в палиндром.
Рыцари бьются без пыла — скорей, от скуки.
Битым железом бряцает глухой вассал,
рыцарь бранится, орёт ему: «Косорукий!!»,
дышит прогорклым салом, тушёным луком —
словно ни разу прежде не умирал...

Я развлекаю тебя чередой событий,
их извлекая оттуда, где жизни нет.

Пусть благосклонен покамест седой зритель,
но с каждым разом реальность твоя размытей.

Мне-то не страшно — врождённый иммунитет.

Ты доверяешь мне видеть намного дальше,
рядом со мной так просто поверить.

Верь.
Я сочиняю будущее без фальши.
Вечность крадётсЯ хищно, по-росомашьи:
время охотится на небольших людей.

Вечер туманится чем-то вконец ненастным —
пару часов, и октябрь умрёт совсем.

...Выжившим рыцарям снится чужое счастье:
локоны, нервные пальцы, мгновенья страсти...

Время, сочтя по списку, вздыхает: «Все...»

Ведьмины письма

Я пишу тебе отсюда

Мелкодожде грибное перепутало сезоны
и укрыло день неспешный монохромной пеленой,
но дожди давно привычны — как болота, автохтонны,
и сшивают воедино первый день и день седьмой.

Здесь не то, чтобы уныло, и не то, чтоб одиноко —
иногда бывают сути с той, забытой, стороны.
И живёшь, хоть в междумирье, но по-прежнему у бога,
то ли снишься тут кому-то, то ли просто видишь сны.

Я пишу тебе на листьях облетающего клёна
непутёвые заметки и бездарные стишки,
и кипит в котле идея первозданного бульона,
и летят по небу рыбы, по-стрижиному легки.

Здесь не то, чтоб всё возможно, но, пожалуй, допустимо,
если ты, не передумав, не придумаешь закон,
а потом не загордишься, заблудившись в эпонимах,
и опять не повторишься, как завзятый эпигон.

Я пишу тебе отсюда, из предельно малой точки,
до Начала и до Слова, или там Большого Взрыва.
И со мной читают вечность неотправленные строчки
все, кто умерли когда-то, но уверены, что живы.

Неспящая

То ли чёрта женят, то ли ведьму — замуж,
то ли просто ветер потерял себя,
потому и бьётся в перекрестье рамы,
задирая перья сизым голубям.

У почтовой птицы в жизни подневольной
есть одна лишь радость, да и та скудна —
возвращаться.
Впрочем, всяк судьбы достоин,
тьма достойна света,
безнадёжность — дна.

Я пишу, мой милый, и танцуют тени,
и перо роняет синеву чернил
в белизну бумаги — пресвятая темень! —
хоть и лист последний, но кого винить?

При любом раскладе всё тебе известно,
повторяться — пошло, даже о большом,
раз слова и дело разделяет бездна,
а реальность держит грубой штопки шов —
верно, божьим пальцам не нашлось иголки
тоньше и острее, оттого всегда,
как услышишь сердце, рвётся там, где звонко...

Спит в кувшине медном чёрная вода,
время спит спокойно в закалённой колбе,
не шуршат секунды вымытым песком.
Я пишу, любимый, в век безмолвной скорби
об уснувшем царстве в бархатный альбом.

Не страницы — годы, не картинки — лица
осажают пальцы.
Звук веретена
разбудить не сможет ни почтовой птицы,
ни другого зверя — я сто лет одна.

Так что ты, конечно, не прочтёшь ни строчки,
но мне очень трудно не писать тебе.

... Приезжать не стоит.
Чем древнее ночи,
тем страшнее правда, тягостней ответ.
Заблудиться впору в загрудинном женьье,
от безлюдных мыслей передышки нет.
... То ли ведьму — замуж, то ли чёрта женят?

Свет...

«Мне скучно, бес»

«Мне скучно, бес».
... Хотя я уже не та,
поскольку передумала о многом.

И даже наступающий Бельтайн,
и месяц, нависающий двурого,
уже не будоражат, не влекут,
не будят в глубине шальную искру.
И я, косноязычна, как ламут,
но диамагнетична, словно висмут,
пишу тебе, не веря, что дойдёт
письмо на эти чёртовы кулички.

Степенно истекая, мятный мёд
идёт на дно — прискорбная привычка
топить в кипящем взваре весь набор
полезностей и всяческих ферментов.
Не начинай по-новой, *por favor*,
она со мной ещё с времён треченто.

Давлю опять непрошенный зевок,
хотя... в два тридцать восемь он уместен.

Ты знаешь много больше моего,
поэтому, наверно, мы не вместе.
Но всё проходит, верно, *top ami* —
ты сам наплёл про это Соломону,
и время, вновь пресытившись людьми,
вернётся к кистепёрому девону,
а, может быть, и дальше — к Гончару...

Пора, однако — ночь зело сквостиста.

Да, кстати, поздравляю: мир и труд,
весна, любовь,
и — кланяйся магистру.

Письмо

«Там, где жизнь — не жизнь,
там, где свет — не свет,
где закат бесконечен, как дно в копилке,
нарушая собственный злой запрет,
я пишу, доверяя письмо бутылке.

Если верить теории, то волна
дополняет скромно природу чуда.
Что ж, теперь надо мною она вольна
посмеяться — верно, пройти верблюду
будет проще в игольное ушко,
чем найти лазейку в иную данность
мне, затерянной нынче так далеко,
что знакомых звёзд, и тех не осталось.

Я не знаю, будет ли кто читать —
ну, а если будет, то с кем разделит
эту горечь?
Бликует морская гладь,
и крадётся пресный, как рыба пелядь,
день, во всём похожий на сонм других.
Ветер тонко воет в бутылке горле,
заблудилось эхо в лесистом взгорье,
как мой недописанный рваный стих.

Хоть донельзя скомкан нечистый лист,
но другого нет, я прошу прощенья.
Умолить бы бога морских течений —
да ведь он законченный фаталист.
Ставлю точку — волны пошли в накат.
Всё поймёте сами, когда умрёте...»

И — обрыв листа.

И — на обороте
торопливо, ломано, невпопад:

«... время которое бьётся на мелководье огромной рыбой
и хватает разреженный воздух разъятым ртом
силится но не может вытолкнуть из нутра влажную глыбу
слова обозначающего место где свет и дом
мир замыкается морем пальцы волны забрасывают мячик
на холодный песок по которому мой нерождённый мальчик
ходит целую вечность не оставляя следов
и плачет по ком-то плачет негромко плачет
Алконост откашлявшись басовито затягивает «до-о-о...»»

Кофе.
Горечь.
Полночь.
Слов пришлых щёлочь.

Третью ночь сжигает чужая сила —
как живёшь, мол, милочка, тут вдругорядь?

Лучше б я бутылку не находила...

Здравствуй

Говорят, урожаи рябины едва ль к добру:
жди холодную зиму и мор в снегирином царстве,
но для мира, в котором все твари и так умрут,
бесполезны прогнозы.
Довольно о грустном.

Здравствуй.

Я давно не пишу и забросила акварель,
руки ищут тепла, но находят синдром тоннельный.
Да и что тут писать: в законе ликует прель
и горбатится ворон на ветке столетней ели.
Облака, разродившись то градом, а то водой,
отступают на север — бесчинствует дерзкий ветер.

... Домовые сошли, но прибился один чужой
и такой неприятный, что даже чумные черти,
повидавшие море хаоса, пропасть стран,
поддаются ему в «девятку» и прячут корки
бородинского хлеба в бездонный его карман,
где теряется прошлое в крошках сухой махорки.

Я сушу на шафранном пергаменте дробь рябин.
Письмена клинописные ёжатся и бледнеют.
Попыталась спасти их — не выдержал молескин
и досрочно рассыпался в дни затяжной метели.
Значит, тайное будет тайным — и стоит ли
открывать эту темень, что помнит о зле и страхе?
Пусть уходит она, как светило — за край земли.

... Остальное, как прежде — какие дела у пряхи?
Знай, сучи заскоружлыми пальцами чью-то нить
да коси на усталые ножницы длинным оком.
Обезличен мой долг.
Это к лучшему — изменить
приговор я не в силах, когда срок приходит щёлкнуть
металлическим клювом возмездия твоего.

Ты, конечно, всеведущ, но...
Впрочем, прости, забылась.

Год подходит к зиме.
Разделяющий световой
продолжается вечно,
но с нами пребудет милость:
что тебе расстояние, если ты сроду — свет,
что же мне ожидание, если я терпелива?

... Осыпается золото.
Конь твой любимый блед
носит палые листья в косичках косматой гривы...

Из междуречья

Ламповой сажай на пересохшем папирусе
я пишу неумело — тому, кто прочесть сумеет —
буквы-клинышки, птичьи лапки не ручкой-стилузом
(мною ещё не придуманы сенсорные дисплеи),
а обрезанным косо сухим тростниковым стеблем.

Что ж, читай откровение — крыть тебе будет нечем.
Я снова права: существуют такие земли,
где петлистое время прячется в междуречья.

Правда, есть неудобства: смещения, параллели,
боги с хищными лицами (впрочем, ведь ты безбожник),
дом, висящий над бездной на ниточке канители,
ну, и прочие радости мира, где всё возможно.

Я к тебе не вернусь, хоть ссоры остались в прошлом,
а верней сказать, пока что не состоялись,
но горячий пепел напрочь занёс дорожки
(почему горячий, спроси свой психоанализ).

Так что ты без меня выживай, утверждай реальность
(ты всё так же боишься открыться ночному небу?).

Прославляю дерзость (и трижды — дерзость!) и казуальность.

Я люблю тебя.
Будь же вечен.
Спасись плацебо.

Сто лет назад, четвёртого числа

Сто лет назад, четвёртого числа
(прости, иных подробностей не помню),
следя за мной, часами и жаровней,
спросил ты вскользь, нашла ли я...

Нашла.

Писать тебе отсюда смысла мало,
да не писать, пожалуй, вовсе нет.
Здесь в третью вечность мрёт последний свет,
но я держу фонарь под одеялом.

Письмо, приняв эпический размах,
плодится по-библейски бесконтрольно,
но не суди — на всякой колокольне
есть свой смотрящий, съехавший с ума.

А впрочем, не о том и не к тому
тяну я эту вязь на листьях лавра.

Орут в ночи поддатые кентавры,
жрут, чавкая, чеснок и бастурму,
пьют огненную воду — в этот год
Стикс ртутною отравой полноводен.
Харон купил лядащий пароходик,
чем увеличил валовый доход,
но — частности.

А в целом в никуда
ведут любые жёлтые дороги.
Вот в никуда и я пришла.

В итоге
не всё то ад, где жар, сковорода
и полчища чертей, дурных до плоти
(хотя какая плоть, когда ты дух?).
Здесь зло одно не выберешь из двух,

поскольку ничего не происходит
там, где сошлись все торные пути.

... От жара угля корчился кизил,
ты говорил, что хочешь дом и ровню.
А кем ты был, как звал меня, любил —
не помню я подробностей, прости...

Я и себя почти уже не помню.

Такое время

И как не потерять в себе весну,
когда твой бог ушёл, а мой — уснул,
и потому бряцающим железом
нам переход к беспечному отрезан?

Такое время: возят ржавый хлам,
да слухи по нахмуренным дворам
таскают электронные сороки —
из тех, что «дам, не дам и дам не вам».
Не высмотрев ответы в свежей луже,
вольёшься в пассажирские потоки,
и свалится неожиданно благодать —
с утра уже недужный недозянь,
от недотёщи едущий к ненужной
жене, возьмётся рьяно просвещать —
мол, мир славян стоит на трёх китах,
и имя им...
Об идолах — не всеу.
Глаза закроешь — спорят, голосуют,
клянут на всяк предателей Христа.
И голосят, и снова голосят.
Засилье грабель...

В небе белый след,
да только бог не смотрит, он ослеп,
и я его, пожалуй, понимаю —
такое время.

... Книжка будет к маю —
как водится, о личном, о пустом:
лямур тужур, сомнений терпкий сок
и зёрна непроросшие отточий.

Ну, что ещё?

Да всё.

Хотя постой.

Есть маленький секрет, совсем простой:

я видела, как лопнувшая почка

открыла робкий бархатный листок...

Мифы средней полосы,
сказки древней Греции

Над бездной

Скольжу по тонкой плёнке бытия,
рифмую быт, и множатся фантомы.

Но где-то там неспешная ладья
того, с кем я пока что не знакома,
идёт, неотвратима, как процесс
горенья вещества в короне Солнца.

Мой слабый дух нуждается в лице,
но всё никак ко мне не обернётся
лицом летучим, пепельным лицом
усталый и бессмертный перевозчик.

А в лодке, открывая ряд сосцов,
спит сука, и дрожит облезший хвостик
трёхглавого, последнего в помёте,
от вечности несытого на треть.

... Доносится глухое: «... не поймёте...
сначала вам придётся умереть...»

Скольжу по тонкой плёнке бытия,
а там, под ней, как чёртик в табакерке,
ждёт бездна, для которой ты и я
всего лишь тень бегущей водомерки.

Сивилла баб'Маня

Сивилла баб'Маня, кустистой взмахнув метлой,
как всякое утро последние лет полста,
прочертит дорогу — иди, мол, себе, не стой,
бескрылая птаха, небесная сирота.

Сивилла баб'Маня, к прозреньям давно остыв,
пьёт вечером водку, а утром — брусничный чай,
и заступом после отчаянно колет льды,
и сыплет песок, и беззвучна её печаль
по тем временам, где великий жестокий бог
входил в её грудь, занимая собой объём
потребного воздуха, — и обрывался слог
размеренной речи воплем...

Инвентарём

заведует тихий пьяница, старый Пан,
и топают баба Маня просить скребок.
Пан мутен и скорбен, как грязный его стакан,
два дня принимающий только лишь кипяток.

Усталая гарпия кильку подаст к столу,
сивилла баб Маня поставит в ответ бутылку...

Я так их люблю, что они всё ещё живут,
от белых печатей не превращаясь в пыль.
И если когда-нибудь, дверь оттолкнув, войду
и к скудному ужину зрелый добавлю плод —
пусть будет он просто яблоком...

Только тут
меня-то никто не помнит — сиречь, не ждёт.

Держи меня

... Проснуться под ситонский светлый дождь —
у нас такой ещё зовут цыганским.
Или грибным?
Неважно.
Ты — поймёшь...

Второй этаж к открытому пространству
стремится меньше, нежели к земле,
но если небо всё-таки очнётся,
и широко зевнёт отельный лев,
и рыкнет, устрояя инородца,
катящего набитый чемодан
с присущим Вечным
вымученным видом,
и громко захохочет юный Пан,
умело притворяющийся гидом,
то я с перил таки вспорхну туда,
где Солнце есть звезда,
ничейной птицей
и сяду к Гамаюн на провода
вещать всё то,
чему вовек не сбыться,
поскольку из ославленных сивилл
я самая никчемная, похоже...

Держи меня, пока хватает сил.

Пока ясны глаза, упруга кожа,
и пальцам, погружённым в шёлк волос,
всё очевидно без иных прочтений,
пока меня сын Ньюкты не унёс
в поля тоски, где ждут слова и тени,
где всходят зёрна пагубы и лжи, —

держи меня, люби меня, держи...

От мойры

Я Атропос, рабыня старых ножниц,
одна из трёх, ослепших на заре
времен, которых никому уже не вспомнить,
поскольку все мертвы.

Дороги рек
с тех пор менялись многожды, но всё же
одну из рек вовек не изменить.
И мы всё те же — первый пробный обжиг
у мастера, вручающего нить.

Нам — петь и пряхть, пока не станет тленом
последний из рождённых на земле.
А что потом?
Смирюсь постепенно,
что тоже доведётся умереть.

Да, я неотвратима, но не вечна,
и Тот, Кто Выше, знает всякий срок.

Клото прядёт, ссутулив зябко плечи,
нить человечества дрожит у стылых ног,
а я пою — о будущем, в котором
едва ли будет лучше, чем сейчас,
и пальцы Лахесис бегут по нитке споро,
в узлы случайности завязывая вас.

Мы предназначены — поэтому ничтожны,
и жребий свой не в силах поменять.

Я Атропос, рабыня старых ножниц,
Одна из трёх.

Запомните меня.

Так плыви же, Харон

И уплыл бы давно, да навек привязан,
проклят, приговорён!

Посмотрел, верно, кто-то сурочным глазом
в час недобрый, в несветлый сон.
Верно, Никта, рожая шестого сына,
не сдержала глухой укор —
вот и воет в три глотки дурная псина,
и течению вперекор
загребают вёсла, взрывая воды.

Но срастается ткань воды,
и плывёшь сквозь сумрак, давя зевоту,
тонкой плёнкой от пустоты
сохраняемый, словно дано сгодиться
для чего-нибудь там ещё...

... Вдруг прозришь — ладошка её, как птица,
согревает его плечо.

Это плата, смертный...
Да, только смертный открывается для любви.

Но всё гуще сумрак, и небо меркнет —
так плыви же, Харон, плыви...

От Медеи

Мать-Геката полна и кругла, как тугой мой живот,
что исполнился смысла, но очень уж к сроку натянута.
Тот, кто занял объём, острой пяткой без жалости бьёт —
а недавно ещё был размером с орешек тимьяна.

Спит Ясон, запечатав ладонью приманчивый вход,
что по воле богов в скором будущем выходом станет
человеку — ребёнку — в чьём теле не иخور течёт
и побольше сосудов, чем в критском служивом титане.

Спит змеиный клубок неразобранных зол и обид,
спит и бледная совесть, и призрак убитого брата
не тревожит покой, потому что бесстрастен Аид
и к мольбам, и к проклятиям — из тьмы не бывает возврата.

Я любима теперь — и пусть прошлое пашут быки,
и пускай в борозде прорастают железные люди —
всё прошло.
Мной сторицей оплачено право руки
запечатывать вход в чередѣ согревающих буден.

Но откуда шипит по-гадючьи слепая беда,
из какого угла, воздух трогая тоненьким жалом,
повторяет чуть слышно — так дышит ночная вода:
«Спи-и-и, Медея, — пока не услышала голос кинжала...»?

Мечта

Немотствую, упорствую, держусь
за плоский край Земли по Демокриту:
пускай киты и в пух, и в прах разбиты,
и сбыт давным-давно китовый ус,
и ворвань переплавлена на мыло,
и спермацет, треща, сгорел свечой,
но я держу остреющим плечом
всё то, что раньше чьим-то смыслом было.

Зачем, спроси?
Отвечу — ни за чем.
Всему свой срок, но жалко черепаху,
плывущую сквозь мрак, не зная страха.
Как всякий элемент мифологем,
она лишь часть, а целое ушло,
поскольку мир идей похож на внешний —
в два счёта угасает то, что прежде
давало и надежду, и тепло.

Что, тяжело мне?
Верно, нелегко,
но нам, кариатидам, тяжесть — в радость.
Самообман?
Ты прав.
Но что осталось
под Гериным пролитым молоком,
не в лучшем из миров, но и не в худшем?

Я помню, помню правила игры:
иллюзии питают до поры,
а горечь заливают звёздным пуншем.

Так что, позволь, свою мечту затеплю,
пустую, как заброшенный e-mail:
что мой Атлант, за тридевять земель,
плечо подставит и — удержим Землю.

Ужин

Он макал серый хлеб, ноздреватый и пышный,
в подогретое масло, и падали капли,
как секунды, весомы, в елейное море,
но едва колебалась густая поверхность,
сохранившая солнце и после отжима.

И катая маслину по белой тарелке,
и рисуя узоры зазубренной вилкой
на фарфоре, от печки не знавшем хозяйки,
его спутница зал обводила глазами —
не имевшая возраста, бывшая прежде,
чем моря, закипая, врывались в долины,
и бурлили, и пенились чёрные воды.

Он ловил её руку, он знал поимённо
каждый пальчик, увенчанный пламенным ногтем,
и равнина ладони, лишённая линий,
никогда не была для него откровеньем.

Мир шумел Вавилоном, утратившим стержень,
на семи языках, на вороньих наречьях,
но невидимый купол над парой предвечных
отсекал неуместное пиршество жизни.

До озноба, до мелкой пронзительной дрожи
я смотрела на тех, кто от века не явлен,
обжигаясь — смотрела, сгорая — смотрела,
за секунду платя безразмерной минутой,
и, летя на миндаль её длинного ока,
мотыльком в паутине взгляд пойманный бился.
Жизнь моя уходила, но я наблюдала.

... Так ужинал Хронос.

Ожидание

Все Пенелопы во все времена едины
твёрдостью духа, достойной иной оправы,
чем монотонный труд, приводящий прямые спины
к перекосам — что характерно, всё больше вправо.

Прялкой ли, карандашом ли, иной забавой
время, в котором так много боли, так мало жизни,
переведёшь ты в соль на свои суставы —
разницы нет, как в завалах сентенций книжных
нет настоящего.

Есть только ты и вера
в то, что любой поступок ведёт к расплате,
но знак вопроса, что загнут, как хвост триеры,
неоднозначен.

Выбрось постылый саван и вышей платье —
синее-синее, словно чужое небо
в полдень, который на юге всегда отчаян,
яркими сорняками, растущими вместе с хлебом.

Выйди на берег.
Вернись к истокам.
Волна встречает
шёпотом, плеском, касаньем прохладных пальцев.
Мир продолжается после любых потопов.
Хрустнет ракушка — накопленный кем-то кальций,
эхом откликнется горний пустой акрополь.

Важен ли способ для возвращенья к теплу родному:
морем ли, сушей, во чреве птицы в броне дюрала?
Все Одиссеи помнят дорогу к дому,
но возвращаются только те, кого вечность ждали.

Решение

Как женщина, способная не только
в стогу колючих истин зреть иголку,
но и, не озаботясь полутьмой,
сшить новый мир затупленной иглой,
я утверждаю — в мире будет так,
как я решу, возлюбленный мой враг.

И я решаю.
За стежком стежок
шью твёрдый принцип: тот не одинок,
кто мир в себе — а я полна от века.
И как бумага терпит человека,
так я терплю молчание твоё
который год, и день течёт за днём,
ничем не отличаясь от прошедших.

Но пусть тебе, познавшему и женщин,
и суть войны, и горечь поражений,
не снятся мои тёплые колени —
я их перед тобой не разведу,
хоть шью тебе покой, а не беду.

Пусть в твоих морях достанет рыбы,
пусть покорятся Скилла и Харибда,
пусть будут нимфы преданны.
В свой срок
ты их предашь.
Гостеприимный грот,
увитый вечно спелым виноградом,
ты вряд ли удостоишь даже взглядом —
и в том ты весь.
Вся суть твоя — побег.
Беги.
Беги.

Неистойвой мольбе
о взгляде, о внимании, о чувстве

не внемлет обезличенная пустошь —
поэтому ни слова от меня.

Не мёрзнет тот, в ком жив секрет огня,
но на маяк в ночи меня не хватит.
Я размыкаю мнимые объятия.
Я отпускаю призрачный фантом.

Я шью свой мир.
Вот берег,
прочный дом,
ребёнок мой, играющий с котёнком.

Скользи, скользи без устали, иглолка —
пока нас не пожрёт голодный мрак,
всё будет так.

Всё будет только так.

Галатейское

Царь Тира, доля твоя горька и плачевна:
правишь её денно и ночью, не покладая рук,
а она, податлива, но всё ещё чуточку несовершенна,
исподволь изменяет личностный свой конструктор.

Ты так поглощён стремлением к идеалу,
что вряд ли уловишь взгляд её, обращённый внутрь.
Занят — меняешь оттенок губ с вишни на алый
и для пушного сияния кожи втираешь толчёный в пыль перламутр.

Ощущая взыскательность этих прикосновений,
она старается соответствовать, но думает о своём —
о том, что дорога к звёздам от века устлана шипами терний.

И пусть она — лишь слоновая кость, воплощённая тирским царём,
но путь её светел, душа спокойна в кувшине тела —
только бы не пролить себя, вынести полной, не расплескать.
И ей, стоящей на постаменте, но уже почти у предела,
до первого шага осталось так мало — понять.

Шлифуя линию её бедра, ты мысленно приближаешь себя к идеалу —
Того, кто лепил из глины, но по образцу и подобию Своему —
и самолично творишь себе тёмное время смут,
позабыв, что бессмертную душу не выпестуешь пустым ритуалом.

Гордиево

Гордий, безвестный крестьянин, неожиданный царь,
Тюхе была ли особо к тебе благосклонна,
но не успело горячее солнце уйти за склоны,
жизнь для тебя изменилась, как мой словарь
в четверти этой возможного года иной судьбы.

В новых словах моих много узлов, но нити
этих узлов ждут не пальцев — меча.
В изменённом виде
суть постигается трудно.

(И тех глубин лучше не знать бы,
да сетовать не пристало —
если зовёшь ты бездну, то точно в срок
бездна тебя заполнит, ничей мирок,
словно усталость смертная — Буцефала,
съевшего зубы за долгий свой конский век).

Что же, фригиец, вяжи прехитрейший узел,
тором венчай совместимость ярма и дышла —
если рука со сталью всегда союзна,
меч македонца стоит, а притча — смысла.

Слушай цикаду, звенящую в левом ухе,
смейся над будущим, маленький человек —
мифы порой состоят из капризов Тюхе
и принесённых в жертву пустых телег.

Кольцо

Подбросив монетку, судьба говорит: «Орёл...»,
и резкая птица, качнув золотую ветку,
десницей становится.

Звери ползут на мол
по ветхим заветам своих мезозойских предков
искать для первичного символа колыбель,
но кто-то из древних уже не вернётся в море.

... Я снова и снова шепчу в никуда (тебе?),
и эхо оглохло, но тени глумливо вторят:
из двух выбирая, всегда ошибёшься. Так,
монета, вращаясь, являет собой пространство,
где равно возможен свет, потеснивший мрак,
и мрак, утвердившийся в статусе постоянства.
Но стоит поймать монету — и мир вошёл
в привычные рамки, где мрака и света — вровень,
и мнётся рассудок, как всякий другой осёл,
меж долгом бытийным и остро больной любовью.

Довериться року — иначе, своей судьбе?
Припомни монетку — и здесь неизбежен выбор.
Смотри-ка, пока говорю в никуда (тебе),
уходит всё дальше время по скользким глыбам.

Не всё, что с оглядкой, — на пользу, но есть резон
вглядеться в свершённое.

... Волны смывают сахар
песка, и навязчив к полудню цикадный звон,
и времени нет, оттого перспектива есть,
и, словом играя, Эсхил замышляет месть,
и целую вечность снижается черепаха.

Погост

Если мал погост, беспокойный гость,
заходи в мой дом, оставайся с миром.
Здесь для шляпы гвоздь, примет угол трость,
есть вино — горчит, как победа Пирра.

Будем говорить, если ты готов,
ну, а если нет — отмолчимся вволю.
В мире суеты было много слов,
в мире за чертой — только мы и поле,
в чьей утробе спят люди-семена,
чтоб взойти потом новыми мирами:
строчками стихов, клетками зерна,
огоньком свечи в деревенском храме.

Вот и снег пошёл — тих и отрешён.
Спи без тяжких снов всю седую вечность.
Обещаю: всё будет хорошо,
прорастёшь к весне частью новой речи.

Обретёт тебя ангельский язык,
серафимов глас приоткроет выси,
и обнимет тот, кто всегда безлик,
но всегда велик, — и к себе приблизит.

А сейчас иди, неприятный гость,
заполняй собой времена и тверди,
мне же — место здесь, где проходит ось.
Я другая жизнь — за порогом смерти.

Наследующие Царствие

Дурочка

В неназванной части города, которому за шестьсот,
теряется даже время на узких потертых улочках,
но знают о том немногие: цветущий балбес-осот,
дом, помнящий революцию, да городская дурочка.

Сидит вон, болтает ножками — дитя без роду, без племени,
без возраста и без имени, отброшенный горький плод.

Упало бы дальше яблочко, но бремя дурного семени
к земле придавило накрепко, и матерный полиглот
(похоже, не без способностей),
уоставив свой пальчик скрюченный
в спешащего в жизнь прохожего,
пифийствует на арго.

Но слышится неожиданно в убогих неблагозвучиях,
в словах без хребта и совести тот серафимов горн,
который пробудит мёртвого,
и я замираю, слушая,
и время сидит кудлатое
на длинной, как век, цепи.

А я и боюсь, и верую
в сивиллу свою тщедушную,
и жду,
и она надтреснуто вещает:

— Иди.
Люби.

Время падающих каштанов

Время падающих каштанов...

Избавляясь от оболочек,
ищет семя иные земли, хоть финал предreshён давно.

День исхода распахнут в небо, листопадами раззолочен,
но страда, и не дремлет дворник — тихий пьяница, тайный сноб.

Он бесстрастной слепой Фемиды, у него есть ведро и грабли,
он хозяин огня и дыма, бережёного коробком.
Разметая покой дорожек, шепчет сдавленно «кххрибле-кхрабле...» —
и послушно восходит солнце, пробуждая дремотный дом.

Да, он скрытен, но мне известно, что к нему приручились тучи,
и поэтому плачут долго, если дворник уйдёт в запой.
Это с ним происходит часто — жизнь всё менее приставуча,
он бредёт сквозь постылый сумрак одинокой своей тропой.

Но сейчас-то сезон каштанов и готовых к уборке листьев,
так что дворник вполне при деле — профи, клининг-специалист.
След метлы его безыскусен и волнующе тайнописен —
пусть мешает досадный тремор, но сегодня он ликом чист.

Сын каштана летит к надежде, дозревая в тугой облатке.
Я дурачусь, пиная глянec тех, кто понял уже, что пал,
и ругается бедный дворник, не приученный к беспорядкам.
Лист слетает к нему под ноги — рыж, доверчив и пятипал...

Час быка

Он живёт при вокзале — усталый вокзальный дух,
что сносил своё тело без малого до рванины.
Хром на обе ноги.
Потирая больную спину
провожает состав, уходящий в районе двух,
шепчет что-то беззвучно: о сыне-судьбе-тюрьме
(«... а ведь был подающий надежды, домашний мальчик...»),
о живых,
об умерших,
о скорой уже зиме,
об отсутствии тёплой одежды,
и машет,
машет
так отчаянно, словно я еду туда, где ждёт
безразличный Харон у заснеженной переправы,
и качается ялик, и носом ломает лёд,
и обол потускневший меня утверждает в праве
занимать это место под номером двадцать два.

(Я беспечна, простите мне, духи, хароны, мифы, —
как вас терпит болящая осенью голова,
так и вы потерпите сезонную пытку рифмой).

Поезд хрустнет суставам, затёкшим за долгий срок,
звякнет гнутая ложка, качнувшись к стеклу стакана.

... Если слышишь и можешь, подай, милосердный бог,
нехолодную зиму из тёплых щедрот карманных.
Он живёт при вокзале — но в мыслях всегда с тобой,
это слышит любой, кто ещё не утратил слух.

... А когда он доносит последний защитный слой,
прибери его, божечка, ночью, в районе двух.

Про дауна и бога

Аллилуйя, люди, свершилось, возносите к небу хвалу,
ломайте тонкие пальцы за зиму настывшей вербе,
накрывайте столы, шинкуйте к селедке горячий лук —
Ваня-даун проснулся рано и бога увидел первым.

Тот шёл, опустив голову, но горел золотистый нимб
(Ваню любила бабушка и часто читала книжки),
и Ваня всё сразу понял и очень хотел за ним,
но не пустило тело, к тридцати обрюзгшее слишком.
Да и окно с решёткой (пятый, поди, этаж)
он не открыл, понятно, только ладонь поранил.

Мир ничего не видел — где значим объём продаж,
не пробудиться страху, не прозвучать осанне.

Бог уходил всё дальше, плакал навзрыд дебил,
трясся, сморкаясь трубно в мятый подол рубашки.
Он же как мог, так верил, он же за всех просил:
маме — конфет и платье, пчёлам — цветущей кашки.

День наступал, как гунны;
жарила плоть плита,
плыл по квартире запах: спонсоры, пицца, милость.
Ваня смотрел в окошко и бормотал:
«Бо-бо-о-х...», а старая мама чадца тихо, привычно злилась:
— Горе моё, ну что ты, где у тебя болит,
хоть бы тебя прибрали к стае господней птицей...

... Шёл над землёй и слушал эхо таких обид,
что и хотел бы — света, но понимал — лучиться
поздно, пускай скорее кончится гиблый век,
миг — и помчатся кони Судного дня.

... Но чем
так зацепил тот сирый, маленький человек,
что до сих пор он полон им и преступно нем?
Время открыться Слову, время звучать трубе,
время камням летящим серу нести и пламя.
Время!

Но шепчет голос, даже начав слабеть,
что-то о пчёлах, кошках и престарелой маме.

Паданец

Недотыкомка, яблони божьей паданец,
дрань, рванина в косматой шубице —
и вот что мне в нём, пусть и ладаном
пахнет рубище?

Но в глаза его не смотреть нельзя,
а в глазах его — край и неба синь,
на плече его задремал сизяк,
и звенят «динь-динь»
колокольцы там, где прозрачен свет,
где просвет прорвался сквозь хлябь и хмарь.

Скромен дар его — фантик от конфет
да ржаной сухарь,
но слова мои комом горло рвут,
и опять убога я, немудра.

Я прошу его: «Оставайся тут...»
Улыбнулся, и: «Нет. Пора».
И широких крыльев его размах
заслонил полнеба и ветром стал.

... И опять ни весточки, ни письма.
Пустота-а-а...

Ничья

Она работает козьим пастырем с пяти утра и пока не рухнет в траву последняя ненасытная, лениво дёргая острым ухом, — тогда из луга обетованного ведёт старуха седое воинство в сарайку, в пустошь, во тьму безвидную, в юдоль прискорбную, что по совести назвать бы карцером — только козы, точь-в-точь хозяйка, неприхотливы.

Бредут по саду — давно заброшен, но щедр на яблоки да на сливы. В подол забросит с десяток падалиц, а сливку мягкую, с битым боком подавит дёснами — на беззубье придётся в радость и капля сока.

С вечерней дойки придёт и сядет под спину дома и свесит руки: любое дело в руках горело — когда-то — нынче же смертной муки горчее даже такая малость, но коз не бросишь, без них и жить-то зачем?

Размочит корку в последней кружке — запахнет в хате молочным, житним.

... Зеваает, крестится, шепчет «оссподи», ныряет в сонную бязь рубашки, ложится в койку — и воспаряет негромким ангелом над миром спящих.

Глагол

На сиром пальто не хватает пуговиц —
и пальцы не те, и глаза повыщвели.
Иные приличней оденут пугало.
Но если ты видишь небесных рыцарей,
которые свет, что не всякий выдержит,
и если в руках твоих мир поместится,
то что тебе город, как вечный жид,
идуший навстречу самаррской сверстнице?

За облачным краем горит заря —
закат затянулся, закат зовёт.
А люди безглазые говорят,
что к ветру.

Ты таешь, как в чае мёд.
Прозрачными пальцами сделав знак
молчания — ужасу вопреки,
мне шепчешь чуть слышно: «Последний шаг
похож на начало большой реки,
стремящейся к морю.
Куда б ни шёл,
тебя не обманет твоя вода.
Не бойся.
Запомни: жизнь есть глагол —
и, значит, не кончится никогда».

Не апокрифы

Идея

И срок пришёл, но не было вокруг
ни мира, ни приюта, ни значенья.

Он нёс меня, как маетный недуг
сквозь лихорадку скорого прозренья,
нисколько не отбрасывая тени,
поскольку света не было ещё,
как не было ни тьмы, ни вод, ни тверди.

Витал над сутью абрис юной смерти,
но, оставаясь им неизречён,
не находил ни смысла, ни объёма.

И было всё.
И не было.

Геномы
начальные плела его рука,
но разрушала разом нити связи —
для тёплой глубины первичной грязи
не вызрело и времени пока.

Он был один.
Он был един, но полон
всем, что и сам до срока не назвал,
и то, что скоро сбудется глаголом,
росло в нём, как прибрежный чернотал,
как дикий виноград,
как ежевика,
как морула, делящаяся на
касание божественного мига
и приближенье жизненного дна.

Он нёс меня, но застывал, немея,
он колебался,
он шептал, что-де я
немыслима и в целом неверна.

Но срок пришёл,
и я пришла — идея
набухшего вселенского зерна.

Глина

Позиция глины — терпение и покорность,
готовность влажная для воплощения в форму
критской ли амфоры с длинным изящным горлом
или горшка для чьего-то ночного комфорта.

Кем ты проснёшься — решает каприз секундный,
нервные пальцы уставшего демиурга.

Собственно, о категориях ранга чуда
мне рассуждать ли?
Обуженным переулком
мысль моя пробирается, в мелкотемье
падая всякий раз, лишь поманит сущность
замысла, непознаваемого, как время,
замысла первого, чья безграничность душит.

Вязкой средой исполнясь, молись же, глина,
чтобы творец согрел перед лепкой пальцы
и воплотил тебя маленьким панголином,
нежную мягкость спрятав под крепкий панцирь.

Будешь бродить себе по цветущей сельве,
даже не зная, что обитаешь в преддверье рая,
а не, из света выйдя, сражаться с тенью
и подавлять потребность сорваться с края.

Чтобы разбился заговорённый голем,
мало упасть, нужно после ещё подняться
и зашагать по землям недоброй воли,
не вспоминая об окрылённом братстве.

Только, я знаю, глина, придёшь ты вскоре
малым подобием и, не постигнув сути,
выполнишь должное, чтоб затеряться в хоре
сонма подобий прочих.

Чем дальше люди
в пропасть уходят, от замысла отдаляясь,
тем всё сильнее нравятся панголины:
ящеры робкие — тихая божья шалость.

Впрочем, кто знает?
Молись же усердней, глина.

Вдохни

И как из темноты не изъять свет,
и как из тишины не извлечь звук,
так и от бытия не отделить смерть,
поскольку бытия, как и смерти, нет.

Есть влажная глина, гончарный круг,
мерное вращение, нога на педали,
рука, вспорхнувшая на плечо,
любящий взгляд, и едва ли
нужно что-либо ещё...

Разве что тихий вечер, горчинка винная
в глиняной кружке, сыр со слезой,
новая книга, прочтённая наполовину, и
ходики, ухающие совой,
мотыльки, принимающие свечение,
ночь, и над ночью огни —
плавно текущие над головой
реки небесные, звёздные ильмени,
и новый сосуд, ждущий одушевления.

Вдохни...

Не апокриф

Когда время ещё дремало в плотном коконе небытия,
и твердь претерпевала терраформические процессы,
у Создателя уже были любимые люди — не ты и не я,
а взлелеянные из жёлтой глины единственного замеса.

Не знаю, зачем Он, слепив их по образу и подобию своему,
дал чуткие пальцы, большие глаза, но слепые души —
признаться, я в древности этой многого не пойму,
но речь не о ней, конечно.

Он ждал.
Он слушал,
как медленно в них прорастает поющий звук —
предвестник неловкого, как всё, что впервые, слова.
Плод созревал, но до его рождения им вполне хватало и рук
для познания мира, положенного в основу.

Ладони текли по округлостям — обретали устойчивость горы;
пропадали во впадинах — те наливались теплом и влагой.
Люди творили так, как это делают дети, ещё не открывшие горя:
не зная боли, стыда не ведая, а также страха первого шага.

Женщина воспаряла, лицом сияя — тяжелели глаза мужчины.
Тянулась Вселенная, раздвигая начертанные границы,
у элементарных частиц обнаружили полупустые спины —
и мир содрогнулся, и звук не замедлил родиться.

И был он таким: вместившимся в один-единственный слог,
тесным, как грех, и тяжёлым, как урановый атом —
«йа-а-а...». И слово — «я». И после — «бо-о-ог...»
И время проснулось, и смерть проснулась, а Бог — заплакал.

От Лилит

... А дела всё такие же — тишь да гладь,
лишь когда-никогда переблуда-ветер
листья жухлые в смерче ручном повертит
да на стылую землю уронит спать.

... А живу ничего — ничего, и ладно.
Всякой новости срок, да не всякой рад.
Облетает и хохлится райский сад;
уводимые в зиму инстинктом стадным,
змеи жмутся к корням, открывая сны,
что черны и бездонны — но что мне змеи?
Им воздастся по лету, тебе — по вере,
ну, а мне остается лишь спорить с Ним.

... А что Он?
Он всё так же — везде и всюду,
как вселенная, полон, как сердце, пуст.
Вон, в грядущем вселился в горящий куст,
и твой дальний, но кровный, поверил в чудо.

... А меня... нет, никто.
И с детьми не вышло.
Да и я никого.
Ни к чему теперь.

Бесконечный мой век разделяет зверь —
белоснежный, яростный и неслышный —
я зову его Время.

... Приветы Еве,
многочисленным чадам и домочадцам.
С пожеланьем плодиться и размножаться,
населять и наследовать —
без обид, не твоя и ничья, но останусь первой,
демоница, заноза твоя,
Лилит.

Позднеэдемское

Вот так бы сидеть в облетающем вечном саду,
из глиняной кружки пить звёзды, упавшие в воду,
на пальце держать мотылька, а под крыльями — воздух
и слушать, как в почве бессонной деревья растут:
из света — во тьму, от означенных — к ненаречённым,
корнями голодными — к чистым источникам вод,
чтоб горечью горнего знания наполнился плод
и дерево к небу тянулось макушкой зелёной.

Однако, всё в плане...
Блаженство уходит.
Тревожится сад.

Упругий живот согревается тёплой ладонью,
и зреют овальные клетки для будущей двойни,
и яблоко зреет,
и время...

Наивные спят.

Сад

Я сад, не желающий плодоносить,
поэтому больше не будет яблок.
Но в почве вьётся упрямо сныть,
на ветке рюмит кочевник-зяблик,
и чешут букашки к весне бока
под жёсткой корою, ломая панцирь,
и дарят приبلудные облака
тягучую ласку дождящих пальцев —
и жизнь не уходит, и я живу,
уже не ища ни любви, ни сути.
Тянусь в загустевшую синеву.

Текут столетья.

Приходят люди,
в сердцах пинают мои стволы,
трясут сердито пустые ветки,
пила, оскалась, являет клык —
и воплощается в табуретке,
кровати, лавке, резной лошадке
один из помнящих связь времён
до самой первой разбитой грядки.
Но их несчётно в числе моём.

Проходят люди.
А я бессмертен
(«...расти над болью, расти и кайся»)
Расту.
Надеюсь умилосердить.

Я сад, заброшенный Богом.
Райский.

Ева

Ева печёт лепёшки.

День тих и светел,
падают глухо яблоки в сонный сад.

В мире, познавшем грех, подрастают дети.
Лепит из глины Авелю старший брат
птиц легкокрылых, бегущих единорогов.
Дует малыш, надеясь, но прах есть прах.

Тесто сминает Ева, вверяясь Богу,
губы сухие шепчут: «... в Твоих руках...»

Время-река — глубоки и неспешны воды.
Ева стирает детское, трёт песком
пятна от винных ягод, а вот разводы
тёмного времени будут потом, потом.

Вечер спускается многоголосым хором,
пахнет молочным, пыльным и травяным.
Солнце уходит, его принимают горы.

Ева целует мужа, сливаясь с ним
в жаркое целое, чтобы зачался третий.

Мерно Господь вращает небесный свод.

Еве семнадцать.
В ближайшем своём столетье
примет нелёгкую ношу и понесёт.
Ну, а пока ей мирно в руках Адама,
смерть далека, не просыпан песок минут.

... Страшное видится — кровь на ноже и саван.
Ева зовёт чуть слышно: «Господь...

Ты тут?»

Безгрешное

плывёт в бесконечность минут череда с прохладой вечерней вернулись стада
мир пахнет покорностью и молоком а страшное будет но после потом
ведь каин и авель безгрешны пока их гладит и поровну божья рука
вот хлеб преломив улыбается мать здесь кайну восемь здесь авелю пять

сквозь щели клубятся иные миры
тех пыльных галактик что разом зажгли
лучи уходящего солнца в закат и вечер уходит
прерывисто брат вздыхает и вертится ищет покой
а в кайне страх прорастает тоской.

я чувствую кайн твой спрятанный страх
я тоже пылинка на божьих весах
и сколько он весит мой маленький мир
в ту вечность ответов где гол ты и сир

спи кайн бог вспашет для нас облака
и утро придёт и господня рука
все зёрна от плевел уже отделив
посеет намеренье

каин ревнив но кайну восемь и ноша легка

танцуют пылинки во тьме чердака
я слышу как дышит размеренно дом
да что-то случится но после потом...

От Каина

Рем бормочет чуть слышно: «Ты это... пиши-пиши».
Забивается в угол, считает свои ножевые.
У бессмертной души бесконечно бесцельна жизнь.

... Правда — в силе.
Ты на собственной шкуре проверил сей тезис, брат,
или всё же исполнил долг, уступая воле,
что не знает сомнений, поскольку витает над,
словно гриф — над болью?

Впрочем, вышло что вышло, и гуси спасали Рим,
а не там, предположим, нелепо звучащий Ремул.
Шесть к двенадцати — брат в анналах, и Марс бы с ним.
Ты что мог — то сделал.

Но толкнулось под рёбрами (бог ли какой качнул?),
и сошлись на холме зелёном не братья — звери.
И порезалось солнце об острую кромку скул,
и — по вере тебе, а брату, прости, померий.

Всякий вышний — игрок, хоть античный, хоть иудей,
это я говорю — ну, а я-то родился первым
от того, кто был глиной, а после — провел людей
через бездну Евы.

Ты нарушил границу, а я преступил черту —
подтолкнуло червивое.

Авель гуляет садом.

Не отмыть мне от крови ни права вовек, ни рук.
Обними же меня — чужого, как прежде, брата.

Ной сидел на бревне

Ной сидел на бревне от ковчега, смотрел в закат,
но, поскольку закат алел нестерпимо, то
приходилось смотреть чуть в сторону.

Хор цикад
славословил ночь на пределах УЗ-частот,
и в ушах звенело.

«Чёртова мелюзга!» —
сплюнул Ной в траву, где прирученный мелкий бес
хоть давно не путался, но так и льнул к ногам,
понимая, видимо, сколь непосилен крест
бытия за рамками времени.
Старый миф
не трещал по швам, но тяжело давил кадык
(изнутри, как душит груз несплетённых рифм
до того, как ты откроешь иной язык —
всякий раз иной, хотя алфавит един —
и свой новый стих по имени позовёшь).

Древний Ной, хозяин ковчегов, мостов, плотин,
отчего на оливковой ветви созрела ложь?
Если ты прародитель, то есть и твоя вина,
что от крови твоей во мне притаился мрак?
Я забыла тех, кто любит меня и кому должна,
но зачем-то помню, что встреченный всякий — враг.

Не ответил Ной — у вечного мифа не тот формат,
чтобы слушать всё, о чём говорит вода
быстротечного тела.

Он просто смотрел в закат
и давился постылой сладостью лжеплода...

Рыба

Он приносит рыбу,
бросает на стол: «Готовь...»

Рыба дышит ещё, но во взгляде его любовь
так надмирна и тёмной болью невыносима,
что я молча киваю и правлю точилом нож.

Звук терзаемой стали пронзительно нехорош —
в голове раз за разом взрывается Фукусима.

Поправляет меня: «Фуку сима, ангел мой».
Выдыхаю, справляясь с тягостной дурнотой, —
от него не скрыться ни мысли моей, ни тени.

Я прошу как могу: «Пожалуйста, не смотри»,
но форель демонстрирует свернутый мир внутри:
микрокосмос утробы,
где прежде клубилась темень
вязкой крови и лимфы,
где сердца её пульсар
по чему-нибудь иномирному тосковал
и горел,
срываясь изредка в аритмию.

А теперь этот мир,
закончившись под ножом,
стал по факту детализирован, но весом —
килограммы нежнейшей плоти не посрамили
сытных вод, в которых брюшком желтел голянь,
и хрусталь ручьёв к себе подманивал океан,
и свободная рыба резвилась на перекатах.

Тороплюсь.
Он скоро оценит мои труды;
на столешнице дуба,
познавшего суть воды,

выбивает чуткими пальцами дробь стаккато
и бормочет тайное — кажется, палиндром.

Не хочу,
не слышу,
думаю о земном,
но в трёх водах омыты
и сердце её, и печень.

Значит, скоро общему времени стать густым
и потечь над миром,
как жертвенный белый дым
с зиккуратов древнего Междуречья.

Он кивает «добро»,
говорит: «Не смотри назад».
За спиной демон плачет,
вдыхая горчащий смрад,
но уходит вскорее,
опять перепутав двери.

Рафаил, глупа я, и тяжки мои долги,
но...
Слепоту душевную вылечить помоги...

Хмурит брови: «Как всем, так тебе — по вере...»

Крамола

Как звали осла, что доставил Марию и плод
её благодатного чрева в укромный покой пещеры,
забыто за временем — время всегда идёт
лишь только вперёд, без оглядки, и новой эре,
по сути, неважно не только, что был осёл,
но также и то, что в густеющей мгле свершилось.

... Поскольку всегда выбираешь, из меньших зол
всё то, что в остатке, собой и являет милость:
отсрочить ли день неизбежный, вложив в уста
копейщика слово, достигшее уха труса,
сойти ль вертикалью тау (читай, креста)
в обмершую плоть назаретского Иисуса,
но лучше бы заново миру писать скрижаль
и быть самому пусть смертней, но человечней —
однако, не время.

Двойная ведёт спираль,
и данное слово, давно обрамлённое речью,
растёт, как растут деревья — от корня вверх,
и ширится ропот, как буря в открытом море.
Я дал им огонь и агонию, свет и грех,
я дал и любовь, что не стала для них опорой.

Но это — история.
Время идёт вперёд,
и в каждом своём движении безучастно —
бесспорно, как то, что рождённый любой умрёт,
и стоит спешить.
Возвратимся же к нашим яслям.

Там хрупают сено усталый седой осёл,
и шумно вздыхает, и в срок выдаёт лепёшки —
а всякий, кто этот пассаж неприличным счёл,
не стоит ни в зной воды, ни к обеду ложки.

Всё значимо.
Всё записано.
Всё сошлось.

Вот груди Марии полны, и едок, насупясь,
пьёт тёплую жизнь,
и дороги густых волос
спускаются долу.

Бесплодна сухая супесь,
но в эту минуту и в ней проросло зерно,
чтоб стать через годы оливой ли, смоквой — деревом.
Всё близко, всё въяве — и равно удалено
в линейном пространстве от года, что станет первым
в исчисленной эре, где время пойдёт назад.

Но здесь и сейчас ночь черна, как глаза налима,
и спит Вифлеем, и шумит Гефсиманский сад
к востоку от стен золотого Ерусалима.

Волхвы

Приходят волхвы: Каспар, Бальтазар, Мельхиор.
Приносят дары: золото, смирну, ладан,
и воззывает к радости горний хор,
но Мельхиор суров,
Бальтазар заплакан,
а про Каспара лучше не говорить,
поскольку своё лицо он в пути утратил.

Зачем вы, к чему вы, немые мои цари,
стоите понуро в несдержанном снегопаде,
и на плечах ваших к небу растут холмы,
и пахнут ладони ваши огнём хурмы,
не донесённым до рта моего и на этот раз?

Смотрят волхвы.
Самый юный — зеленоглаз,
старый — очами светел,
и с глазом вороньим третий:
чёрным, как ягода дикого злого тёрна,
тусклым и мёртвым,
как в срок не взошедшие зёрна.

Я раскрываю дверь — заходите, мол,
скатертью белой покрою усталый стол,
выставлю чашки — прабабкин ещё сервиз.
Но Бальтазар и Каспар молча смотрят вниз,
а Мельхиор улыбается вдруг светло,
точно пронёс Всевышний густое зло
мимо него, ни капли не уронив.
Солнце благословенной страны олив
пляшет в его ладони безумной жрицей.

Падает снег, несдержан и вечно юн,
где-то поёт незримая Гамаюн,
воображая себя то девой, то райской птицей,
и этот сон мне долгую вечность снится.

Собственно, чем он хуже, чем прочий бред?

Тянутся мимо тысячи тысяч лет.
Свет, темнота и снова неверный свет...
Времени нет,
в здешнем чистилище времени тоже нет.

Плотник

В детстве, бывало, приходишь к плотнику.
Ты — сосуд,
не греха пока ещё; комочком ёжишься.
А он улыбается:
— Здравствуй-здравствуй.
Ты снова тут?
Всё никак не привыкнешь к непрочной кожице?

И мурлычет негромко себе под нос,
обтёсывая кору с отжившего человека.
Человек был щедрый — липовый медонос
и прожил без малого три четверти века.

На вопрос «зачем» отмахнётся ласково:
— Молчи. Смотри.
Вот человек-дерево —
у него есть корни и ветки.
Ветки — дети его,
а корни — предки,
но самую суть я надёжно спрятал внутри,
и тело хранило её, покуда не стало ветхим.

Сидишь, поджав ноги, думаешь.
Потреплет по волосам:
— Веришь, многое я не сразу понял и сам,
не огорчайся, ещё дозреешь, пока же — слушай.

Погружает чуткие пальцы — ну, кто у нас там? —
и принимает душу...

О, Саломея...

О, Саломея, не сбрасывай покрывал,
не открывай чужим протяжённых линий
юного тела
возраста первых лилий...
Но подчинённой бронзой звучит кимвал —
дзан-н-нг! — и спадает первое покрывало.

Не отводи глаза, я тебя узнала,
древняя сила, тёмная злая Мать.
Не отвечай мне — некому отвечать,
я потерялась, я лишена опоры.

Кружится дева.
Плоть засевают споры
запаха: персики, жажда, жемчужный пот,
влажная нега, мускус, ответный трепет.
Миг висит точно летящий стрепет.
Тянется взглядом к юности жаркой тот,
ради кого стекает второй покров.

Слушай меня, хоть во мне и не много слов
нынче найдётся, но всё-таки слушай, слушай!
То, что меня тревожит, ночами душит,
то, что меняет свет на густую тьму,
то, что ведёт к униженному письму —
всё это ты, темноглазая нелюбовь.

Узнана — изгнана.

Третьи летят вуали.
Здесь я открою сущность свою?

Едва ли,
но неизбежность яростней камнепада,
и потому без жалости мнётся шёлк
тонкой четвёртой и столь дорогой преграды.
Память касания...

Тяжко, как всякий долг,
падает пятое шитое покрывало,
но вожделенные смоквы укрыты алым.

Ярость телесная, не затмевай меня!
Боль узнавания силой взрывной огня
полнится,
ширится,
бьётся в височной вене.

Светом восторга проявлены люди-тени,
но не открыто последнее.
Нет спасенья.
Голос тетрарха полон, силён, рокочущ.
Падает слово-камень: «Проси что хочешь!»

Зрелая женщина прячет в ресницах мрак,
финики ест;
укрощая пожар предсердий,
кровь виноградную пьёт, наблюдая, как
юность танцует жизнь, отдаваясь смерти.

О, Саломея, не сбрасывай покрывал...

Ж а л о

— В жалости — жало, а также колючая ость.
Вновь измышляю, впадая намеренно в грех словоблудия.
Всё, что положено, в срок и пришло, и срослось.
Что не положено — взято таранным орудием,
долгой осадой, обманным манёвром, набегом в ночи.

Верно, довольство не свойственно вечному воину.

Если ты — милость, попробуй меня научить,
только не вздумай твердить о делении поровну.

Есть только право и сила, чтоб право облечь
в форму, доступную для осознания слабыми.
Сталь, закалившись, вершится в задуманный меч,
почва, от крови больная, спасается злаками.

Ость в каждом колосе, в каждом несдавшемся — ось.
Жало оставим гадюкам и брошенным женщинам.

Если ты — истина, то умирай, где пришлось,
или молчи.
Помни, я не согласен на меньшее.

— Если я истина, то умолчать не могу.
Если я милость — прошу для тебя сострадания
в вечности той, что откроешь опять на бегу,
тщетность свою принимая за светлое тщание.

Что ж до меча, то не вечен и тёмный булат.
Время придёт, и замешанный в деле кровавом
скажет, что помнит — умножится слово стократ.
Чья же победа?
Смерть, где твоё жало?

Из приходящего

«... но если ты страшишься тишины,
то вокруг тебя все бесы наготове...»

Срывался голос.
Ржавые от хны,
от времени, в котором было крови
не меньше, чем горячечной любви
в ответном и почти забытом взгляде,
от долгой жизни выжженные пряди
спадали на усталое лицо.

В обжитый мир на хлипкое крыльцо
свет полнолунный лился благодатью,
и мы делили хлеб, вино, объятия
как две сестры, прошедшие разлуку
длиною в неосознанную жизнь.

Царила ночь.
Шептались листья бука,
шуршали осмелевшие ужи,
в утробной глубине пищали мыши,
но мир их откровения не слышал,
поскольку всякий смерти предречён.

«... не верь, всё врут, что время — лучший лекарь...»
«... любила в нём не Бога — человека...»
«... и в вечности люблю...»

А я молчала.
Всё, что умею я — молчать и ждать.

Шёл долгий звёздный дождь.
Шло время вспять
над миром, обращаемым к Началу.
Был крепок сон её младенца-сына,
укрытого изношенным плащом,
и плакала по-детски Магдалина,
уткнувшись в моё острое плечо.

И говорил он

*«... и нашел я, что горче смерти женщина,
потому что она — сеть,
и сердце её — силки,
руки её — оковы...»
«... и время обнимать»*

Книга Екклесиаста

Дом твой стоит на семи продувных ветрах,
семя пробилось — лютик да молочай.

Всё суета сует.

Отряхни же прах
с пальцев холодных,
словом не множь печаль.

Всё, что построилось — жадный пожрёт песок.
Время — холоднокровный насытый змей,
в линьку сменивший шкуру прошедших дней,
вскороости облюбует и твой порог.

Кольца совьёт — силки, раздвоит язык,
станет рассказывать, чем так блажен покой.
Если поверишь — державший доселе стык
враз разойдётся под бледной твоей рукой.

Что ты увидишь, усталая ловчья сеть,
что ты услышишь, лишённая всех оков?
Помнишь ли, женщина, как появилась смерть?
Вместе с тобой, хорошая — как любовь.

Все суета, песок и земная пыль.
Вечно лишь то, что выросло на песке
силой твоей любви.

Вспоминай, он был —
нежен он был.

... Он говорил: «Цветок...»
Он говорил: «Полынный, горчащий сок,
пью тебя, яд мой, а кажется, майский мёд
нёбо ласкает и тает на языке.
Столько не вынести, сколько тебя во мне...»
Божья коровка ползла по его щеке —
божьего было много,
и солонец
злаки растил — на невиданный урожай,
и неприкрыто алым манил кизил,
и приходило время, чтоб обретать,
и говорил он: «Счастье...»,
и говорил...

Трудно быть

Трудно быть богом.
Бога возводят в степень,
чтобы потом низвергнуть в пучину страсти.
Слаб человек, но гибок, как сочный стебель:
пастырем будь мне, отче, и к ране пластырь
вовремя дай с отборным насущным хлебом,
дом дай и в дом, и малым, и домочадцам.

... Если стоять вне стен Твоего вертепа,
где невозможно жизнью не измельчаться
в фарш человеческий, Ты предстаёшь иначе:
деревом, светом, свободным июльским ветром.

Господи Боже, Ты всё ещё хрупкий мальчик,
Бог мой уставший, ты старше любых бессмертных.

В правой Твоей ладони ключи и правда,
в левой — вспотела жажда держать за горло.

Всё, что я вижу, верно, делить бы на два,
но Ты умножишь втрое, поскольку форма
есть и гарант, и формула для повтора:
цепи, спирали — по образу, но без права.

Господи Боже, ты зыбок, как сонный морок,
Бог мой ужасный, ты полон гоморрской лавы.

Да, это ересь — так скажет любой крутящий
ручку шарманки по производству буден,
но я свободна, как всякий, кто видел ящик,
где прирастают агнцы и слепнут люди.

От женщины

Я — женщина

*«Ибо я — первая и я же — последняя.
Я — почитаемая и презираемая.
Я — блудница и святая.
Я — та, кто производит на свет,
и та, кто вовек не даст потомства.
<...>
Поклоняйтесь мне вечно.
Ибо я — злонравна и великодушна.»*

Из гимна Изиде,
обнаруженного в Наг-Хаммади,

III или IV в до н. э.

Я — женщина.
Привыкшим презирать
меня за бремя собственных пороков
под тусклым светом вздёрнутого бра
пусть будет пусто.

Синь кровоподтёков
мои запястья отроду несут,
но я, не покорённая от века,
рожаю миру богочеловека
и снова отдаю на страшный суд,
укутав в покрыва любви и веры.

И я, во всём способная быть первой
на этом нескончаемом пути,
и в юный зной, и в стылость зрелозимья
иду всегда немного позади,
чтоб ты, мой сильный, оставался сильным
и был бы и оплотом, и стеной —
пока твоя спина прикрыта мной.

Я — женщина.
Во мне и жизнь, и смерть.
Тобой же и наученная блуду,
храню свой свет и помню суть сосуда —
поэтому любви во мне гореть,
пока есть я — а я уйду последней —
и, значит, ты в бессветье не уйдёшь.

Я загодя прощаю гнев и ложь

и скользкий взгляд, ласкающий соседних,
не потому, что так боюсь утратить
случайность ласк и краткий жар объятий
и молчаливость длинных вечеров —
и не такое смелет время-мельник —
но вспомни сам, кто выложил ребро
за право стать законченным и цельным?
Да, я щедра, как зрелая земля,
растившая свой гумус от придонья —
так почитай те дни, в которых я
бужу тебя, касаясь лба ладонью.

Одинокое

Листаю рыхлую тетрадь — могилу для былых любовей.
Косит рассвет из-под надбровий, и для винтажных послесловий приятней часа
не сыскать: льёт дождь, ни капли не жалея. На соснах ёжатся чижи, промок до
шкворней чёрный джип, и дворник, нашенский таджик, скребёт озябшую аллею.

А мне легко — я не болею... никем, ничем и ни о чём.

Былое мятым мотыльком пылит ещё в листах тетради, но не взлетит. И бога
ради — прошло и поросло бьльём. Я стала стылее и злее, и щит мой — иронич-
ный флёр. Смотрю на многое сквозь пальцы, все эти «коти», «лапы», «зайцы»
отосланы взашей страдальцам, под сень секвой и сикомор.
Давно не греет милый вздор — ну чем не точка в монологе?
В изгнании ночные боги, ряды подрощенных цыплят скосил беспечный недогляд,
но всюду жизнь, раз на востоке взошёл солярный луидор.

...А ты, читающий меж строк, и вы, читающие слепо, и я — под всё выдавшим
небом — лишь персоналии вертепа Того, Кто сроду одинок...

Непрактичное

Побросать пожитки в пасть чемодана,
хлопнуть дверью с лязгом на весь подъезд,
чтоб соседа Тольку снесло с дивана,
а из пятой толстая Мариванна
всколыхнула честно нажитый вес.

Нацарапать «FUCK!!!» поперёк капота,
непреренно ржавым кривым гвоздём —
милый мальчик, сказочник гарри поттер,
хлещет в тёмном пабе свой горький портер
и не знает, лапочка, ни о чём.

И бежать, походу мурлыча что-то,
через мрак аллеиный, чтоб каблуки
разбивали стуком покоий болота,
в этом состоянии сумасбродном
с ночью приходящей вперегонки.

Но когда укутает кошка-полночь
полусонный город своим хвостом,
вдруг подкатит к горлу обиды щёлочь,
выжигая болью «...какая сволочь!»,
но себе прошепчешь: «...потом, потом...»

И мобильный модный — его подарок,
придушив на сотом уже звонке,
запулишь подальше — путь будет ярок,
но финал полёта, понятно, жалок — как у всех,
не вышедших из пике.

А потом внезапно случится утро —
через вечность малую в три часа.

Город станет хлопотным и маршрутным,
суетливым, дёрганым, непопутным,
поминутно жмущим на тормоза.
Ты войдёшь в потоки и станешь частью,
растворившись в смоге его забот.

Там, где каждый встреченный безучастен,
будешь строить — может, дорогу к счастью,
впрочем, может статья, наоборот...

Неожиданное

мужчины являлись из ниоткуда, но не с пустыми руками, дарили звёзды в цветочных обёртках, воображали себя волхвами. топтались в жизни её основательно, их прайсы пестрили посулами, отдельные были бедны, но нежны, все прочие — толстосумами.

губы её обжигали чили — они твердили, что это сахар, она носила такие духи, что каждый встреченный глупо ахал. они мечтали срастись настолько, чтоб спать на одной подушке, а в ней соседство с чужой головой рождало приступ удушья.

она любила всех, но недолго — иначе у них исчезали тени, тогда она плакала по ночам, смиренно каясь в атлас коленей, наутро втирала крем анти-эйдж, сбивая со следа хищное время, и выводила в ничейный мир эпоху вольного водолея.

а он не ждал её так давно, что позабыл обо всех приметах, она явилась из ниоткуда, из сумки жёлтой достала лето. ему хватило одной улыбки, чтоб снять пароли и стать доступным. он перевёз к себе в прошлый вторник два чемодана, kota и ступу.

Кизиловое

Ты любишь осень?

Пусть будет осень.

Кизил созреет и листья сбросит –
и загорится в октябрьский вечер.

Как всё большое, миг быстротечен.

Я буду терпкой, я буду сладкой,
корми с ладони, ищи украдкой
во мне эскизы грядущих будней –
я изменяюсь ежеминутно.

И мы не станем искать причину
для этих поздних холодных ягод –
здесь царство женщины и мужчины.
Ты ищешь боли – я стану ядом,
ты жаждешь страсти – я стану жаждой,
но лишь покоя не жди.

Однажды,

привычно, быстро и милосердно
уложит вечность с глазами нерпы
весь мир в шкатулку из перламутра –
и всё, что дальше, я помню смутно...
Наверно, данность возьмёт пучина...

Растает сказка, а с ней мужчина,
кормивший вечность с глазами нерпы
плодом горящим печали терпкой...

Пока же осень... Мы примем осень –
у нас так много грядущих вёсен.

В лучах закатных сгорает вечер –
как всё большое, миг бесконечен...

Кто-то и ты

Кто-то смотрит и видит поверхность: ты
для него состоишь из густой темноты,
на которой рисуются те черты,
что подскажет опыт.

Кто-то плоско видит тебя: овал
или замкнутый круг, что не раз спасал,
и он думает: что же, води, вассал,
открывая тропы.

Кто-то свёл и вычертил этажи:
до сих пор — подвал, а отсюда — жизнь.
Будь любезна, темень в себе держи,
праздник нужен гостю.

А кому-то ты — воплощённый враг.
Для него/неё ты желанна так,
что взошла любовь — ненавистный знак,
раздирая остью.

И таких вот «кто-то» в тебе не счесть.
Из дарёных жизнью убито шесть.
Что в остатке — тащишь.
Банальный крест.
Ни Христу, ни чёрту.

Обособясь снова в зиме слепой,
долго-долго дуешь на молоко,
но потом, на сердце махнув рукой,
выпиваешь чёрный.

На одну секунду встревожив тишь,
жизнь бормочет сонно, а ты молчишь.
Снег негромко ходит по скатам крыш.
Кто его прогонит?

Кто-то вышний смотрит в тебя в упор,
подбирая главный к тебе глагол.
Ты кусочек зеркала, острый скол
на его ладони.

Смотрю из темноты на свет...

Рефлексивное

Сезон рефлексий накроем резко —
по осени сходят с ума внезапно.
И всё, что недавно казалось веским,
вдруг станет ватным.

Но ты, с упорством печенег,
пока склоняешься к истукану,
а мир отходит к эпохе снега.

Отнюдь не странно:
созрели клёны для голой правды,
и откровенны плоды рябины.

Вот-вот навалятся брудершафты
с осенним сплином.

С полудня время несёт неспешно
в неприкасании суверенном,
и день с тобою пока что смежен.

Но пахнет тленом.

Сезон рефлексий накроем резко —
да, в осень сходят с ума, как в пропасть.

И мир рассыплется на отрезки,
попав под лопасть.

Неприкаянные слова

Ничейны слова мои, неприкаянны, не у дел,
как сны Азраила, висащие на гвозде,
что вбит в пустоту, но является осью мира.

Слова эти, колки, как клинопись юкагиров,
зовут меня: «Ир-р-аа...»

Зачем-то зовут, но приходят опять незвано,
и речь их резка, и отрывиста, и гортанна,
и мне бы не слышать, но снова шуршат страницы,
и мне бы не видеть, да вечность уже не спится.

А мир кружится,
и время спешит,
только гвоздь, пробивающий пустоту,
пока ещё держит,
и сны Азраила ждут,
когда проведёт последнего преданный серафим
сквозь жаркие воды,
сквозь стынь бесконечных зим,
туда, где всё сущее станет единым Словом —
умрёт, а потом воскреснет, сложившись снова
в те звуки, которых не вымолвит мой язык.

Пока же, всегда неждан, навсегда безлик,
ведёт по непрочным льдам, по горящим рекам
дрожащую душу прозревшего смерть человека
уставший донельзя, измученный серафим
и ждёт, когда сны сойдут и возлягут с ним.

Тёмное время

трижды отрёкся но был прощён
поцеловавший однажды проклят
листья осины дрожат и мокнут
дождь зарядил до конца времён

всякий кто в силе себе ковчег
прочим велели не волноваться
мир победившего потребления
что в тебе истинно человек?

тёмное время чужие сны
в смайлах убитые алфавиты
речь возвращённая к неолиту
просит почтительной тишины

ночь загоняет стада машин
в душных загонах теснятся агнцы
всхлипнув уснуло за стенкой чадце
выплакал страхи Мариин сын

Последний бастион

Вот-вот падёт последний бастион,
оплот, стена, ет сетега по смыслу,
и в тёмный мой немой иллюзион
ворвётся свет, слепя кротов и слизней,
разъевшихся на пиршестве души,
потерянной над пропастью во лжи.

Да будет так.
Взметнутся пыль и мусор —
но всё вернётся на круги своя,
поскольку притягательна Земля
до костного несдержанного хруста.

Я слышу, как долбит извне таран,
я чувствую, как мечется тиран,
хтонический мой мелкий повелитель,
смешное доморощенное зло,
но я пока не вижу ничего
в своём нерукотворном мегалите.

Ведь что слепому свет?
Всё та же тьма,
которой вкруг очерчена тюрьма.

Входи, судьба, не подавая виду.
Меня хранят бездушная зима
и душная, но спящая обида,
поэтому я снова не умру.
Пусть белый день, срывая кобуру,
предъявит враз обойму аргументов —
не принимая чуждую игру,
из дымных фраз одну лишь подберу
с усталым полустёршимся «memento...»

Возрастное

Это, наверное, возрастное —
время, на самообман скупое.

Парк одинокий, сухая хвоя...
Пошлый рекламный сор —
тот, на который нас бес рыбалит.

Больше не манят иные дали,
роль чудотворца снесу едва ли,
скучно с недавних пор.

Просто живу — на таблетках неба.
Веришь, на днях прописал плацебо
док, что анфас так похож на Феба,
в профиль же — чистый чёрт.

Вот и смотрю, как плывут столетья.
Над паутиной электросети
снова бесчинствует дерзкий ветер,
неприручённый норд.

Сказки закончились.
Здравствуй, зрелость.
Я к тебе, милая, притерпелась
и принимаю твою дебелость,
сухость и склочный нрав.
Кто я?
Мурашка под божьей дланью...

Видишь, над лиственной жухлой стланью
дикой, сторожкой, несмертной ланью
время летит стремглав?

Март

Есть что-то длительное в марте
и запредельное, как смерть.

... Ты нацарапаешь на парте
пронафталинированное «мреть»,
а твой сосед, дурак ушастый,
покрутит пальцем у виска,
и ты, отверженная каста,
зевнёшь.

Вселенская тоска,
что Цезаря душила, может,
в его последний стылый день,
навалится и подытожит:
— К доске! —

Превозмогая темь
от неученья душевных формул,
взойдёшь Болейн на эшафот,
но грянет, соблюдая норму,
звонок и вновь тебя спасёт.

Сосед, ухмылисто-щербатый,
с печатью тлена на челе,
опять порадует цитатой
о самом древнем ремесле,
но ты с величием матроны
всандалишь в низкий лоб щелбан
и, осчастливив гегемона,
вернёшься в мир фата-морган....

Альбом о прошлом.
Стынь в мансарде.
И больше некуда взростеть...

Есть что-то тягостное в марте
и неизбежное, как смерть.

А внутри

... А внутри — не тьма, так пропасти,
и никак сакральным «Господи!»,
не изведать пустоты.
Но — молчи.
Сказать по совести,
никому не станешь новостью.

Затихай, замри, застынь.

Засыпай, перпетуум-мобиле.
Заблудился в ленте Мёбиус,
потеряв ориентир.

По закону местной темени
падай в зимнее безвременье.

Дно.
Беспамятство.
Надир.

Побыла огнём и воздухом,
погуляла, аки посуху,
по застуженной воде,
а теперь, уняв речение,
принимай своё лечение —
благодатное нигде.

Если спрячешься и выстоишь,
то с разбуженными листьями
солнце красное войдёт
в мир, свернувшийся зародышем,
и зальёт сосуд по горлышко
жизнь тягучая, как мёд.

От колодца

Они кричат в тебя, говорят.
Круглы их мысли, слова пусты.
Их плач обманчив, а шёпот — яд,
и каждый ждёт от тебя воды.
И каждый требует свой глоток
не так, как просят посильный крест.

... Воздай по вере, мой мудрый бог,
мы все вторичны, как палимпсест...

Какие б ни были родники
в твоём придонье, найдётся тот,
кто метко плюнет из-под руки —
или другого чего из-под.

А если скажешь, что нет воды,
поскольку вычерпан даже ил,
скорей получишь от чёрных дыр
квант милосердия, света и...

Поставь же точку.
Вода придёт.
Вода приходит, пока есть воздух.

Пусть кто-то шепчет и кривит рот,
но кто-то смотрит, чтоб видеть звёзды.

Не указ

*« ... Огромный взгляд.
Огромней страха.»*

Андрей Ширяев,
из цикла «Мастер зеркал»

Решившемуся слово не указ,
поэтому, ревнители, молчите.
Не всякий оборвавшийся угас,
раз высветил дорогу в лабиринте.
Пусть мне, сейчас хрипящей в ларингите,
молчание терпения придаст.

Чтоб написать о тёмном, нужен свет,
чтоб написать о страшном, нужен голод
того, кто сроду надвое расколот,
того, кто не открыт, как тайный город,
и, значит, что его почти и нет
ни в мире дольном, суетном и грешном,
ни в горнем серафимовом огне.

Не потому ли глупой, малой мне
так горько, так просторно, так мятежно,
что те слова, в которых он живёт —
навек, вопреки хуле и страху,
растут сквозь боль и тьму над скорбным прахом,
где гной и слизь и вздувшийся живот
всего лишь часть большой метаморфозы?
Ведь что есть плоть?
Бутоны, завязь, гроздь,
сбор урожая в страхе не успеть,
потерянные листья, холод, смерть,
распад и снова сборка в новом теле.
Зачем?

Слова и мысли оскудели.
Мне душно, бог.

Пусти меня — на воздух,
по тёмным водам, в слово, с молотка.
Прости меня.

Начни меня сначала.

... Не слышит бог — я сильно измельчала.

Но гладит бог.
Рука его легка.

Полночь тучи тишина

ветер холод зимний сад
ад взрослеющего тела
тёмные мазки на белом
снег рябина пубертат

пропасть звёзды тишина
безразличие вселенной
тау-крест иноплеменной
смута слёзы омут сна

тьма уроненная внутрь
тьме равняется снаружи
боль растёт причастность душит
поднимает слово кнут

пробуждение души
мир пустой и молчаливый
утро небо перспектива
бесконечная как жизнь

зрелость смута близость дна
тьма с которой примирилась
слово бросовая милость
полночь
тучи
тишина.

Ты уже знаешь

Девочка, силой твоей восхититься и замереть.
Милая, в боли твоей не найти ни надежд, ни брода.
Ты уже знаешь, как жалит огонь, за которым смерть, —
яростный, точно гордыня царя Нимрода.

Что я могу?
Ничего.
Промолчать.
Уйти.
Правда иная бьёт, если ложь — лекарство
или хотя б немудрящий паллиатив.
Что мне позволено?
Разве что это — здравствуй.

Здравствуй всегда.
Несмотря.
Вопреки всему.
Свет продолжается вечность, а твой — тем паче.

Всё, что накоплено, вряд ли снести письму,
но тяготит лукавство,
а это значит —
роли отыграны.

Я, как смогла, прошла
личные страсти над тёмной голодной бездной.
Что я теперь?
... Изгарь, шлак, смола —
да ещё железо.

Мало осталось, но крохи тепла делю
в большей, чем братской —
поскольку в сестринской — доле.
В мире зима, и горячка равна нулю,
но за тебя я с кем-то ещё поспорю.

Мойры поют, продлевая тугую нить.
Срока обрыва из смертных никто не знает.

Что я могу?
Ничего.
Помолчать.
Любить.

Свет продолжается — и да пребудет с вами.

Как гаммельнские дети

Весна близка — и ближе только локоть
(кусай, кусай, раз хочется страдать)
Ташу апрель, как воз навозный — лошадь,
дожившая до пахоты опять,
и чавкает суглинок под ногами,
едва сойдёшь с асфальтовой тропы,
а мир безволен, точно спящий Гаммельн
за час до пробуждения скупых.

Преобладает ржа, тоска и охра,
пророчат тучи к вечеру мигрень,
и мнётся полосой нечистой гофры,
пав на поребрик, чахленькая тень
от холода уставшего каштана.

Иду.

Иду.

Куда, к кому, зачем?

Туманна даль, что, в общем-то, не странно,
в преддверии разлившихся дилемм.

Всё тусклое и среднее, как возраст,
и созревает кризис на глазах.
Но если есть подобие и образ,
то есть и путь, колеблющийся прах?

Не знаю.

Много думаю.

Не вижу.

Иная ночь, что вечности сродни,
позволит посмотреть намного выше
той плоскости, где памятный гранит
венчают имена, заслуги, даты
и прочее, пустое за чертой,
где ждёт флейтист обещанной оплаты
за плотский обезмысленный покой.

Но всё, что свыше, мне неподчинимо —
не вынести такое, не объять.

Нисходит день, как в Трою — доктор Шлиман.
Закрыта электронная тетрадь,
но кажется в скупом на свет рассвете:
ещё бы вечность — главное пойму,
да жизнь идёт, как гаммельнские дети, —
тропой в непознаваемую тьму.

Весна будет скорой

Весна будет скорой, как роды четвёртым ребёнком.
Мутнеющим водам недолго стоять на пути
(на завтра опять обещали пустые дожди,
расшитые снегом).

Мой мир, огороженный плёнкой
почти неприсутствия, тесен, отчаянно мал
и снова (зачем?) за никчемную жизнь перевёрнут.
Воздав мастерству кувырков приснопамятной Корбут,
пытаюсь найтись,
но, нацелившись клиньями жвал,
термитное время пугает, толкает, торопит
и, кажется, злится, поскольку исходит на нет.
Извне в мой мешок пробивается маковый свет —
на данном этапе единственный чувственный опыт,
который и нужен, чтоб стылые пальцы согреть.
Пока же — до света — живу по законам планктона.
Уставшим чертям обуютив обещанный омут,
не жду ничего.

Приручая невидную смерть,
пытаюсь из птичьих её, вавилонских наречий,
из сонма историй, из боли, из страха, из горя
ушедших искать идеально овальное море,
составить словарь,
но, застряв безнадежно на «вечность»,
бьюсь в ватную стенку предела.

... Весна будет скорой.

В одно предложение

Когда раскрыты небеса
так широко, что видно бога,
на ветках спеют медь и охра,
и спит сентябрьская лиса
в кусте шиповном, спрятав нос
в густой рыжеющий подпушек,
когда зовёт фруктовых мушек,
уоставших пчёл, сварливых ос
развал последних летних ягод,
где дынный мёд течёт и сок
арбузный, и торгов итог
всегда толкуем в пользу Яго,
чей рот улыбчив, речь сладка,
хоть порчена советским игом,
но в тьме кармана зреет фи́га,
в глазах — тоска,
под сердцем — зга,

всего-то нужно, что в рюкзак
закинуть воду,
влезть в кроссовки,
рвануть по лестнице бесовкой,
дразня медлительный сквозняк,
и там, где свет сегодня дан
так щедро, что не хватит сердца
его объять и впрок согреться,

как надоевший чемодан,
печалей бесконечных зло,
не умножая на число
непокорившихся америк,
послать к чертям,
в утиль,
на слом —
и сесть на велик.

Перспектива

На коленях держать доверительный груз,
целовать охламона в мохнатую морду,
ритм мурчания встраивать в собственный пульс,
отдыхая от форте
бестолкового сердца, живущего тем,
что заведомо ложно, как всякое чувство.
На паучей слезе повисать в пустоте.

... Много лучше, что пусто.

Слушать дождь, пить горячий, на ягодах, чай,
вспоминая: язык — для познания.
Вкуса.
Пассифлора, малина, изюм, алыча —
и ни грамма искусства.

В плед укутавшись, думать о новом панно,
сочетая дары разноморья и просек,
и, прищурясь, смотреть, как в оконном кино
начинается осень.

Это время, в котором нет места, но всё ж
есть круг света над вечно спешащим курсивом.

А пока в законе бесчинствует дождь,
ни к чему перспектива.

Всё остаётся

Всё остаётся в силе: пролитый свет
красок закатных,
вкрадчивый майский ветер,
жук, что в сведённой ладошке негромко светит,
преумножая чувство, с которым нет
смерти как безысходности бытия.

Лает собака: отрывисто, нервно, гулко.
Вечер-монах пробирается переулком,
полнится звёздами — с горкой — его скуфья.
Подзадержался в выси, теперь спешит
ужинать сырным кусом, подсохшим хлебом,
терпким настоем из яблок седьмого неба,
долго томимом на тихом огне души.

Я потеряла многое, но оставь,
господи, малые крохи былого чуда —
жажду водой не занятого сосуда —
мне, не имеющей больше волшебных прав.

Он не ответит, поскольку неслышна я,
но улыбнётся ясно и беспричинно,
глядя на то, как в ладони большой и сильной
дремлет до света продрогшая жизнь моя.

Смотри

Как ни смотри, но взгляд со стороны
всегда условен даже в объективе.

Отпущенные мартовские сны,
найдя приют на ветках старой сливы,
упрямо превращаются в грачей,
созревшие слова — в бездарный мусор.

Ничто не заменяется ничем.

Знакомым курсом
обходишь сад — пока ещё чужой,
пока ещё не вспомнивший ладони,
пока ещё очерченный межой.
Апрель прогонит
досыта не наевшуюся смерть
из корешков, из стеблей, из бутонов —
и сад взорвётся жаждою успеть,
и станет лоном.

Пока же — жди: броди, дыши, смотри,
как муравьи ползут в свой стылый Рим,
хтонические камеры покинув,
как, выбравшись из лиственной перины,
с ожесточеньем тянутся ежи,
зевают, щеря зубы,
шурят очи
в прощённый мир,
где маленькая жизнь
шевелится в раздутых чревах почек
и ангелы до блеска моют высь.

Зло и сладко

Всякий циклон — циклоп: одноглаз, свиреп,
скор на расправу, голоден, зол, всеяден,
только вот этот, верно, вконец ослеп
и потому так чутко и долго гладит
город по обезлюдевшим площадям.
Ветер звереет — вырвавшись на свободу,
пёс вспоминает волчью свою природу,
лает и воеет, срываясь в античный ямб,
бьётся широкой грудью в слепые окна —
те, дребезжа, пытаются урезонить.
Свет покрывается старым, линиялым, блёклым.
Выше и выше летит одичавший зонтик —
может, сгодится воздушным элементалям,
может быть, свалится знаком судьбы на темя?
Я, как всегда, так пристрастно хищна к деталям
лишь потому, что не вижу картины в целом.
Улица пахнет влагой пустой грибницы,
спят молодые листья в тугих облатках —
хоть бы одним глазком посмотреть, что снится...

... Долго печалится, плачется зло и сладко.

Нет ничего

Нет времени, пространства, пустоты,
в полях на всё способных переменных
горят неопалимые кусты,
а в почве, неразбуженной, как евнух,
растут на свет земные языки,
соприкасаясь тонкими корнями,
как пальцы неразъятые руки.
Различия потом вобьются в память
прашой гудящей, бронзою, железом...

Но, если долго всматриваться в бездну
она в тебя посмотрит — и поймёт.

Нет ничего — но мёд течёт из сот,
но молоко спит в глиняном кувшине,
но жаркий хлеб вот-вот уже остынет,
и будет свет, а после ночь придёт.

Нет ничего.
Есть всё и сжато в точку,
и зреет слово в тесных складках почек,
и мир в себе несёт орочский лось,
и фыркает в траве бессонный ёжик,
и всё ещё никем не началось —
и потому закончиться не может.

Письма древоточца

1.

Ходов твоих причудливая сеть
всего лишь продвижение по кругу:
яйцо покинув, в зиму умереть,
ожить, когда земля поддастся плуту,
и вгрызться в плоть, и пить древесный сок
в беспечности слепого паразита,
окуклиться, оставив узкий выход,
и, изменившись, выпорхнуть в свой срок
в огромный мир, на яблоко похожий.

Не мне судить тебя — под тёплой кожей
я тоже червь, грызущий вечный смысл
от яблока познания до мрака,
но, зряшность превращения оплакав,
бессмысленность свою мне вряд ли смыть.

2.

Клинопись, первичный иероглиф —
не с твоей ли азбуки, червяк,
человек, горилльский лоб нахохлив,
принципом подобия набряк
и родил однажды строй убогий
разномастных, свернутых, кривых
линий, означающих дорогу,
зверя, что, замученный, затих,
племя остающихся зверями,
но уже принявших беглый ген...

Бег по кругу...
Жажда перемен
да пробудет, древоточец, с нами.

3.

В бессонный час любой сторонний звук
составит не компанию, так дело.
И вот он — начинается несмело,

как шепот неприкаянных теней,
но прирастая, как зеленый лук
на светлом подоконнике в апреле,
становится назойливей, больней,
захватывает мысленные мели,
и я уже не думаю о нём —
не звуке, в смысле, а о человеке —
я слушаю, как тяжело дышит дом.
Размеренно хрустит древесный крекер,
и счастлив шашель жрать немой покой,
поскольку счастье всякое имеет
продление в лишённости чужой.
И это ест меня, а шашель — двери.

4.

Я не знаю, что пишешь ты, бык, пожирающий дерево,
на коре, что утратила связь с обнажённым стволом.
Я в печатное слово до этого месяца верила,
а теперь не читаю, не вижу, не слышу.
С очищенным злом
перемешано вечное — хмель от такого смешения
уравняет с богами, но позже похмельная муть
низведёт до зверей.
Ни к чему...
Не в готовом решении
открывается путь.
Я б хотела уснуть,
но ста лет будет мало...

Так тягостно, тошно мне.
Круг замкнулся, и к точке исходной съезжается рать.

... Улетай, убегай, уползай в своё тёмное прошлое,
фессалийские дети тобой пожелали играть.

О сущности вещей

Твой дом — картонная коробка,
что в мнимой прочности своей
непознаваема, мой робкий,
согласно сущности вещей.

Твой нос, держащийся по ветру,
так нежен, влажен, говорящ,
что разбавляет беспросветность
твою куриный сочный хрящ,
хребтинка золочёной рыбы,
в салат не стертый пармезан.
Грызи, нечаянная прибыль,
за эти бусины-глаза
тебе, конечно же, простится
ордынский дерзостный набег.

Пусть где-то есть лесная птица,
и флейту чёрный человек
уже поднёс к губам, целуя
как женщину, чья жажда жжёт, —
ты вытащил судьбу незлую
и, может быть, поймёшь вот-вот,
что благо в этой синекуре
нисходит строго по часам
рукой того, кто диктатурит
и кто живёт в диктате сам.

Терпи, душа размером с мошку,
все боги — образ одного:
найдут, возлюбят понарошку,
устанут от и выйдут вон —
туда, где маетные лужи
качают тонкий лунный рог
и где стоит на зыбкой суше
оплот — бетонный коробок.

Параллели

Veni vedi vici

1.

Читай.

Читай — всё скажет глубина,
которая не всякому видна,
поскольку суть укрыта в междустрочьях.

Поймёшь намёк?
Услышишь ли?

А впрочем,
история не ведает стыда
и скуки сослагательного «если б».

2.

Он видел смерть, стоял у края бездны,
и кровью напоённая вода
бурлила, принимая щедрость жертвы
безжалостным хтоническим богам.

Он здесь за малым не погиб и сам,
но провело сквозь гибельные жерла
предчувствие великих перемен.

Дробился мир в убийственном дурмане,
цветы алели в страшных рваных ранах,
и уносил к другим пределам Граник
тела всех тех, кому открылся тлен.

Но звал живых клич боевого горна,
летели дни под мерный скрип седла,
и он, не отступавший никогда,
без боя брал чужие города —
и, подчинившись, Персия легла,
открыв живот и трепетное горло.

3.

Богатым краем прирастает карта,
и мысль завоевателя дерзка,
хоть впереди — неведомое завтра
и тёмный час, когда наверняка
всё унесёт подземная река,
но это после,
позже,
а пока
ночь заливает окна чёрным дёгтем,
идут дожди над царством македонян,
и мир простёртый влажен и покорен,
как женщина, припавшая на локти.

След

Закрой глаза.
Не двигайся.
Не думай.

Под веками проступят океаны,
и времена, вопящие как гунны
в ущельях узких улиц Орлеана,
уйдут на дно, где всякому аттиле
найдутся и сражение, и место,
чтоб обрести не деву, так могилу.

Смирение — одна из форм протеста,
и раз до крика не хватило звука
из ряда гласных робкой середины,
молчи.

Молчи.
Молчание — не мука,
молчание — созревшая лавина,
готовая от шороха сорваться,
поэтому не двигайся.

Доверься
бездонной тишине и чутким пальцам,
уже узнавшим профиль на аверсе
монеты из времен, расцветших ало
кипучей жаждой, яростью и страхом
народов тех, не сбывшихся за малым.

Но к праху прах.
Умеет вечный пахарь
укрыть в земле и кости, и победы:
идеи, плоть — для времени едино.

Не двигайся.
Молчи.
Идёт по следу
тот самый звук из робкой середины...

Как летели сарматские кони

Как летели сарматские кони дорогами Понта,
как звенели подковы над бездной, по воле сезона
становящейся твердью, лишь звёзды бессчётные помнят —
если в плазме кипящей найдётся подобье нейтронов.

Был ли холод так значим, что приняли женщины силу,
или женская сила ковала себя и пространство —
кто и мог рассказать, тыщи лет как порублены в силос,
и развеяло время все признаки бабьего царства.

Я на тех берегах, где античные плошки не стоят и гривны,
не ищу приключений, присущих курортному духу.

... Как гремели копыта, как тёмная конская грива
на ветру развевалась, как прядало чёрное ухо,
как хрипела кобыла, чьё горло ужалили стрелы,
и как медленно, нехотя, встречно земля поднималась
и затем принимала в ладони летящее тело —
если это не я, то откуда же боль и усталость?
Да оттуда, откуда и сила, и жажда, и норы,
и горячее право брать острый металл и мужчину!

Никуда не ушло, и всё так же выходят в дозоры
те, кто помнят себя как основу и первопричину.

... Я не знаю, как много во мне этих сорванных жизнью,
я не помню себя монолитной.

Ковыль, прогибаясь,
покоряется ветру минутно, но в становой жиле
остаётся собой — вот и я возвратилась...

Осталась.

Крепость

Деревья растут, собирая в кирпичной стене
за двести три года истлевшие в пыль минералы, —
мой город историю пишет привычно вчерне,
и правда о прошлом не раз и не два умирала
в стране, где язык вековой подменил суррогат,
где вместо народа растится покорное стадо,
которому велено жить на авось, наугад,
которому нужно так мало, что больше не надо
ни воли, ни веры, ни силы, ни правды, ни...

Зря,
всё это напрасно, слова не стучатся, как пепел
Клаасовый — в сердце, и лишь холостится заряд
любви молчаливой к тому, что пустого не терпит.

Поэтому стой на краю и смотри на загаженный ров,
на пластик пивной, что к распаду за малым не склонен —
как стены крошатся, встречаясь с горячим ядром,
как в пушечном мясе теряются воины конницы,
как самость народа сменяет безликакая грязь,
так всё исчезает, становится прахом и скверной.

Поэтому стой и смотри, молчаливо стыдясь,
в темнеющий зев десять лет аварийной потерны.

Доносится память, как гордость, — останется клоч.
Язык отомрёт — не останется даже обрывка.

В истории нет назиданий — есть только урок,
но он ни к чему обладателям жирных загришков.

Все это напрасно.
Слова.

Пусть деревья растут
и держат хотя бы корнями кирпичные стены
той крепости, что представляла оплот и редут
того, кто о будущем думал, сам будучи бранным.

Смирна

Мёд, лепестки роз, пьяные солнцем пчёлы,
смоква на пристани — горы сладчайшей смоквы.
Город как женщина: омут — манящий, тёмный,
пахнущий терпким, пряным, солёным.

Мокрым всякий проснется, кто ночь проведёт с младенцем.
Смирна могла бы вспомнить, как пахли фавны,
как с четверенек встало людское детство,
выпрямив спину,— чтоб не оставить на камне камня.

... Прошлое — прошлому.
Нынче же зреет осень,
и виноградные грозди ломают лозы,
и шелкопряд, ведомый незримой осью,
кокон свивает, и полнится небом звёздным
каждая ночь, в которой она ложится
в руки его под пёстрое покрывало.
Жизнь бесконечна. Женщина. Смирна...

Птицы
будят тревожным криком.
Голодным алым
город окрашен.
Стоят корабли на рейде.
К морю текут притоки огня и крови.
Сбившись на пристани, молится, верит, бредит,
плачет, штормит страхом людское море.

Именем Бога — Элоха, Яхве, Аллаха —
бойни оправданы.
Что сбереглось — в рост.

Славься, Измир. Ты прирастал прахом.

... Смоква сладчайшая, мёд, лепестки роз...

Прости, что тревожу

Прости, что тревожу, бессонная тень,
покоя желать бы тебе, но помню,
что милость — не каждому.
В темноте,
растущей в глубины, как чёрный корень
великого древа первопричин,
отыщешь едва ли обломки правды,
чтоб выстроить лодку.

Река кричит
на сто голосов дохристова ада,
и всё, что ты скажешь, пожрёт вода,
поскольку у слов твоих — привкус крови.
Войне и тобою платилась дань,
и всяким мужчиной платилась, кроме
того, кто взошёл на шершавый крест,
хоть плотником был к ремеслу приучен.

Ты мог бы — геройски, и в сотне мест,
когда б не фортуны природа сучья:
кровавая винная хмарь, жена,
чье тело ты грубо открыл для боли,
угарная темень и яма сна —
но сну не разглядить лицо рябое.
Где тонко, там рвётся — подскажет опыт —
и лопнул сосуд, как нанизка бус,
и ты, утопивший в крови Европу,
открыл своей крови железный вкус.

Есть что-то от промысла в этом факте,
но больше — издёвки от вышних сил.
Творец наш, похоже, циничный практик,
и, как ни беги, временной оси,
входящей в тебя остриём булавки,
никак не избегнуть.
Прости же, тень,
клянусь твоим именем тугоплавким,

я знала тебя, но забыла где.
В отчаянье тень открывает рот,
и кровь, пузырясь, изо рта течёт,
и пахнет пряно и терпко медь,
и слово в муках идёт на смерть,
и в нём клокочет расплавом сила.

Кричи, Агтила!

Ирина ВАЛЕРИНА

Держась за воздух

Дизайн и верстка: Вениамин НАИНСКИЙ

Подписано в печать 15.04.2014.

Формат издания 60×90¹/₁₆. Усл. печ. л. 10,5. Печать офсетная.

Гарнитура Charter. Тираж 50 экз.

ЭС

Издательство «ЭЙДОС»

www.eidos-books.ru

Гуманитарная научная литература
Электронные издания

Отпечатано в Типографии «СБОРКА»

Наб. Обводного канала, дом 64, корпус 2, офис 22.

Санкт-Петербург, Россия, 192007

Заказ № 04-1/14.